



Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ
с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 1

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРОЗА

ЭЛЬЧИН. <i>Голова. Роман</i>	3
Натиг РАСУЛЗАДЕ. <i>Девушка в красном, дай нам, несчастным!</i>	
	<i>Рассказ</i> 91
Аля АЛЬ-АСУАНИ. <i>Рассказы</i>	123

ПОЭЗИЯ

Заур МЕХТИЕВ. <i>Стихи</i>	87
Ибрагим ИМАМАЛИЕВ. <i>Стихи</i>	119
Тофик АГАЕВ. <i>Стихи для детей</i>	132

ПУБЛИЦИСТИКА

Айтен АКШИН. <i>Голос солнца</i>	78
Эмиль АГАЕВ. <i>Хорошо зимой на даче</i>	115
Гюлюш АГАМАМЕДОВА. <i>Имитация фасада</i>	129

2017

Главный редактор	– Солмаз ИБРАГИМОВА
Зам.главного редактора	– Елизавета КАСУМОВА
Ответственный секретарь	– Эльдар ШАРИФОВ-СЕЙШЕЛЬСКИЙ
Отдел прозы	– Надир АГАСИЕВ
Отдел поэзии	– Алина ТАЛЫБОВА
Отдел публицистики	– Ровшэн КАФАРОВ
Отдел подписки и рекламы	– Джамия ШАРИФОВА тел: (055) 846-98-49
Литсотрудники	– Ниджат МАМЕДОВ, Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА
Компьютерная верстка	– Натаван ХАЛИЛОВА
Корректор	– Анна КУЗЁМКИНА
Редакционная коллегия:	<i>Почетный аскал «Л.А.» Сияуш МАМЕДЗАДЕ, Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ</i>
Литконсультант	– Натиг РАСУЛЗАДЕ

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г в Министерстве
печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:

AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53

Электронный адрес: litaz@box.az

Тел: 493-75-81

Сдано в печать 19.12.2016г.

Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16

Печать офсетная, 8.25 печ. л.

Тираж 400

Отпечатано в типографии «OL»НКРТ ММС

Тел.: 497-36-23

Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

***Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Ранее опубликованные произведения редакцией
не рассматриваются***

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию «OL»НКРТ ММС

© «Литературный Азербайджан», 2017 г.

ЭЛЬЧИН

Г О Л О В А

Роман

Перевод Азера МУСТАФА-ЗАДЕ

*Автор посвящает этот роман
памяти Ильяса Эфендиева*

*«Жизнь моя болеет».
Энвер Мамедханлы*

*«Больше в этот мир – ни ногой».
Ариф Абдуллазаде*

Часть персонажей этого романа исторические личности, но не стоит искать исторической достоверности в каждом эпизоде, да и в целом, на каждой странице произведения. Исторические личности в этом романе – всего лишь «герои автора», увиденные и оценённые им, будь то князь Павел Дмитриевич Цицианов или же юный персидский принц и наследник – Аббас Мирза Каджар.

Исторический колорит в этом произведении – отражение раздумий и всего, прочувствованного автором по мере знакомства с историческими фактами, и исторические герои здесь тоже «свои», существующие лишь для автора неисторические персонажи.

Пусть историки не ведут поиски всех приведенных имен, писем, различных исторических эпизодов и ситуаций, так как в архивах они ничего не найдут. Пусть не обращают внимания и на штрихи и детали романа, не совпадающие с историей. С этой точки зрения, автора утешает, что тут немало и моментов, по мысли автора совпадающих с историей, важных с позиции историзма, что тоже, вероятно, немало.

Эльчин

Все ЕГО чувства находились внутри некой невесомости, пустоты, нет, эти чувства не были внутри невесомости, невесомость была в этих самых чувствах, ибо эти чувства не были внутри, не приходили извне, ибо извне тоже не было, как не было ничего физически ощутимого, эти чувства просто разлились вокруг.

Впрочем, здесь (где?) не было и окружности, окружностью было всё, во все стороны была лишь одна прозрачность, и эти чувства внутри этой прозрачности были повсюду, поэтому в том видимом измерении ОН видел вокруг всё.

Для НЕГО не существовало ни противоположности, ни тыла, по сути, не было и «сторон», а лишь общая, не имеющая сторон прозрачность, и в НЁМ было такое

ощущение, что ОН посреди этой цельной прозрачности, но на деле здесь не было и середины, и казалось, ОН глядел отсюда (откуда?) на то видимое измерение за прозрачным маревом волн.

ЕГО ощущение сознавало, что никто ЕГО не видит и в ЕГО медленно начавшей будто пускать ростки и с этими ростками пробуждавшейся памяти возникла такая паника, словно если ОН глянет в зеркало – СЕБЯ не увидит, так как увидеть ЕГО было невозможно, и та паника исчезла, потому что и ЕГО САМОГО не было.

Но если ЕГО не было, как он видел и то, чего не мог до конца еще осознать, словно те прозрачные чувства не позволяли ЕМУ прочувствовать все в целостности.

Кем, чем ОН был? – этого до конца ОН никак осознать не мог, и те чувства, как и ОН сам, были совершенно невесомы – прозрачно невесомы, между тем та ЕГО прозрачная и невесомая субстанция – та, что существует сама по себе, независимо ни от чего другого – состояла именно из этих чувств.

Сквозь эти прозрачные чувства ЕГО прозрачной и невесомой субстанции прошла так не согласующаяся с этой прозрачностью и невесомостью волна растерянности, и ОН был убеждён, что эта растерянность пройдёт, улетучится, это – некая временная растерянность, взгляды той Головы, что глядит на НЕГО с того видимого измерения, тоже временны, позже эта растерянность исчезнет.

ОН полетит к силе, притягивающей ЕГО к самому себе, идиллия той бесплотности и невесомости завершится, потому что она была абсолютна, та ЕГО бесплотная и невесомая субстанция была совершенно убеждена в этой абсолютности, будто эта субстанция создалась в унисон с той абсолютностью.

Теперь те волны марева понемножку таяли, и, наконец, ЕГО пробудившаяся память осознала, что та Голова, глядящая на НЕГО из того видимого измерения, – голова ЕГО САМОГО, но эта внезапная информация совершенно не заставила ЕГО вздрогнуть, никоим образом не испугала, так как ЕГО субстанция была бесплотна и невесома.

ОН был, и ЕГО не было, и эта непостижимость, неведомость, родившиеся между этой субстанцией и небытием, были чужды ЕГО бесплотной и невесомой субстанции.

Это было всё ещё непостижимое ощущение, что-то случилось и что-то еще случится, но что случилось и что случится? – этого пока ещё понять, осознать ОН не мог, всё это пока ещё было непостижимым ощущением.

Какая-та сила влекла ЕГО, ОН сознавал, что должен уйти, улететь, но куда лететь? – этого ОН не знал и не понимал, но должен был лететь, этот полёт был абсолютно обязательным, ОН осознал эту абсолютную обязательность, убеждённость в абсолютной обязательности этого полёта разлилась по ЕГО бесплотной и невесомой субстанции.

ОН уже понимал, что удерживает ЕГО то видимое измерение, что пока ещё ОН не может, оторвавшись от этого измерения, полететь навстречу той силе, что притягивает ЕГО, отчего, почему? – ЕГО бесплотная и невесомая субстанция этого не была способна понять, осознать.

ОН, наконец, уяснил, что в этом видимом измерении для НЕГО нет ни близости, ни дали, нет прошлого и будущего, и в этот миг пронесшаяся сквозь ЕГО память информация напомнила, что глядящая на НЕГО с того видимого измерения Голова – ЕГО Голова – не имеет тела, но это ЕГО вовсе не обеспокоило, так как вся ЕГО субстанция была бесплотна и невесома.

ОН хотел лететь навстречу силе, притягивающей ЕГО, словно магнит, эта сила

оторвёт, унесет ЕГО от всего, что он видит, но то видимое измерение и глядящая на него с того измерения Голова не отпускали ЕГО...

ОН больше не желал глядеть на Голову, чувствовал, что ОН находится на пороге проникновения в абсолютное успокоение, но взоры глядящей на НЕГО Головы словно не давали такой возможности, поэтому ОН больше не хотел смотреть на Голову, но это от ЕГО желания не зависело...

1

Уже который год зима в Баку выдавалась умеренной, но 6 февраля 1806 года по христианскому летоисчислению сначала подул пронизывающий ветер, как будто природа отыгрывалась за прежние годы, затем пошёл мокрый снег, и Гусейнгулу-хан, совершенно не переносящий холода, распорядился, чтоб принесли мангал и поставили его на середину зала. Пылающие угли мангала словно ещё больше нагнетали общую тревогу, страх, растерянность, и сидящие вкруговую, сложив под себя ноги на подушечках, брошенных на знаменитые ковры Гаджи Мухтара, члены дивана¹ – уважаемые беки, бакинские аксакалы, приглашённые с окрестных сёл духовные лица, ахунды – молчали, устремив глаза на краснеющие угли.

Уже почти два часа шёл диван, и Гусейнгулу-хан, человек по характеру нетерпеливый, своенравный, не любящий пространных речей, часто даже не вникающий в суть того, что говорилось, на сей раз никого не обрывал, каждый, кто просил слова, высказывался, правда, мысли уносили хана вдаль. Особо не задумываясь над тем, что говорилось, быть может, впервые с той поры, как взшел на ханский престол, он ощущал внутри себя острую, как лезвие бритвы, насущную необходимость в дельном совете, предложении – и это было подобно тому, как тонущий непроизвольно хватается за соломинку, Гусейнгулу-хан и сам понимал это.

Члены дивана говорили на сей раз недолго, произнеся пару-тройку фраз, замолкали, паузы между высказываниями длились куда дольше, впрочем, о чём говорить, всё и без того ясно, как белый день, смысла в речах не было, и даже Мешади Гасанага – начальник канцелярии дивана, всегда аккуратно и чётко выполняющий свои обязанности, не находил ничего, что мог бы набросать в лежащую перед ним тетрадь.

В тот день определялась судьба Баку.

В зале было тепло, пылающие в мангале угли порой потрескивали, и от этого треска, казалось, вздрагивали не только приближенные, а будто и сама осевшая на залу тишина.

Несмотря на тепло, сидящий на троне Гусейнгулу-хан по-настоящему мерзнул, и в этой тишине, дрожа, он думал, что ломит его кости не стужа, не пронизывающий ветер с дождём за окном, а то положение, в котором очутилось ханство: Наместник Цицианов так вцепился в его горло, что не по силе пастушьей собаке, вцепившейся в шею волка.

Глядя на пылающие угли в мангале, Гусейнгулу-хан усмехнулся: о каком волке толкуешь, где тот волк, что осмелился противостоять такой псине? Подобно дикому животному, что, желая защититься, прячет, переносит с одного места на другое своих детёнышей, чтобы другие хищники, рыскающие день и ночь в поисках дичи, найдя, не разорвали их на куски, так и Гусейнгулу-хан пытался защититься своё ханство, но

¹ Диван – совет высших сановников при дворцах мусульманских стран.

теперь это было просто невозможно, и кто знает, чем провинилось, что совершило несправедливого Бакинское ханство, что Всемогущий вот так отвернулся, лишил его своих милостей?

Шесть столетий тому назад, в 1191 году, когда Султан Кызыл Арслан, правитель азербайджанского государства Атабеков, незадолго до своей гибели в результате покушения, совершил нашествие на Ширван, захватил его столицу Шемаху, Ширваншах Ахситан перенёс столицу в Баку, возвёл в два ряда защитные крепостные стены. Но разве могли устоять эти стены перед русскими пушками, с моря и с суши нацеленными на крепость. Сейчас, когда Наместник Цицианов, с более чем шестью тысячами солдат на подходе к городу, а корабли генерала Завалишина снова перекрыли вход в бакинскую бухту, разве мог противостоять им Гусейнгулу-хан со своими четырьмя сотнями, даже шестью сотней конницы?

Те времена, когда бакинский люд, как говорится, смиренно опустив голову, преспокойно сеял и жал, тянул из колодцев нефть, занимался рыболовством, поставял в города Золотой Орды, Московские княжества, в Европу ковры, шёлк, всё, начиная от сушёного инжира, кишмиша до олив, в то время не только азербайджанские, но и купцы из соседних стран, расплзшись, подобно муравьям, вывозили из Баку в Туркестан, Аравию, Индию, Астрахань, на южные берега Каспия различные товары, привозя взамен другие – нынче эти славные времена остались в прошлом, теперь с одной стороны Россия желает подмять под себя Баку, с другой стороны Каджары, усилившись, берутся за мечи: нет, мол, Баку – наш.

Но разве и в те прежние времена мало было пролито на этой земле крови? Всемогущий создал эту землю благодатной, именно оттого чёрные тучи всё время нависают над ней.

И сегодня причиной нынешнего безысходного положения является то, что Бакинское ханство вывозит за рубеж дублёные овечьи и козьи шкуры, из которых шьют тулупы, папахи и обувь, плотное из овечьей и верблюжьей шерсти сукно, хлопок, шёлк, потребность в коврах, вытканых в Сураханы, почти такая же, как в прославленных коврах Гаджи Мухтара, эти ковры также отправляются судами из бакинского порта в Энзели, а оттуда в Стамбул. Шувелянский шафран популярен во всем мире, трюфели, собираемые по весне в Новханы, считаются в Европе, особенно во дворцах королей Франции, самым лакомым продуктом, бакинская соль идет по цене золота, но главное, конечно же, нефть – словом, Бакинское ханство, как аппетитный курдюк, притягивает к себе ненасытные дьявольские взгляды.

Гусейнгулу-хан прикрыл воротом тулупа грудь, ему было по-настоящему зябко, в последние годы он постоянно стоял перед выбором: русские или Каджары, Каджары или русские, ясное дело, ни один из вариантов ему не улыбался: он был словно муравей под приподнятой пятой этих чудищ, рано или поздно наступят, раздавят.

Сейчас именно таков и был расклад.

В свое время Ага Мухаммед-шах, создав государство Каджаров, решил подчинить себе, как он это сделал на Юге, все ханства Северного Азербайджана, ожидая беспрекословного подчинения. Гусейнгулу не проявлял явной позиции, тянул время, пытался прикрыться заверениями дружбы, братства, религиозного единства, шах, известный своей жестокостью, равной уму, хорошо знал цену заискиваниям и двуличию хана. И чем это кончилось? Ага Мухаммед-шах, захватив, разорил Шемаху, а затем обложил Баку такой данью, потребовал столько золота и драгоценностей, что прежде полная казна ханства оказалась опустошена.

Когда Ага Мухаммед-шах, пойдя походом на Карабах, тридцать три дня держал в осаде Шушу, но, так и не сумев одолеть шушинскую крепость, с присущей ему яростью двинул свои войска в Картли-Кахетию и в течение нескольких дней полностью подмял её под себя, именно тогда до слуха Гусейнгулу-хана дошло, что на одном из сборищ Ага Мухаммед-шах в разорённом им дотла, превращённом в пепелище Тифлисе бросил в его адрес: «Среди этих карликовых ханов самый двуличный лис – Гусейнгулу!», да и сегодня отношение его племянника, Фатали-шаха, мало чем отличалось от отношения его лютого дяди – Гусейнгулу-хан это отлично знал.

Но какой смысл сейчас вспоминать всё это?

Пытаться разыгрывать какую-то шахматную партию не было надежды ни на грамм, Гусейнгулу-хан хорошо знал Цицианова: это – конец, пощады не было, Наместник дал только день, чтобы без кровопролития полностью подчиниться, принять российское подданство.

Тлеющие в мангале угли понемножку покрывались тонкой плёнкой пепла, и Гусейнгулу-хан, отведя взгляд от мангала, посмотрел на молчащего всё это время Моллу Музаффар:

– Молла, – сказал он, – ты-то почему молчишь?

Молла Музаффар, всегда отличавшийся правдолюбием, и на сей раз не стал кривить:

– Ваше величество, я беспомощен что-то предложить...

– Видать, на этот раз вопрос решён окончательно, не так ли? – улыбнулся Гусейнгулу-хан.

Молла Музаффар, вероятно, вспомнил тот, восьмилетней давности разговор, но снова не произнёс ни слова.

Восемь лет назад в весеннюю пору – это были опасные времена – впрочем, когда они были не опасными?! – Ага Мухаммед-шах, выйдя из Тифлиса, снова ринулся на Карабах, на сей раз ему удалось захватить Шушу, а Ибрагим Халил-хан бежал в Белоканы. Шах был зол на Гусейнгулу-хана за то, что тот вручил ключи от ворот Баку тогдашнему Наместнику Зубову; чем мог обернуться кадjarовский гнев, отлично знали ханы и именитые беки по обе стороны Аракса, в том числе, конечно же, Гусейнгулу-хан. Отец нынешнего царя Александра, едва взойдя на престол, сразу же отозвал войска, и Цицианов убрался вместе с ними, русских в Бакинском ханстве не осталось, но это уже не имело значения, ярость Ага Мухаммед-шаха отдавала кровью: шах дважды звал его в Шушу, но Гусейнгулу-хан под разными предлогами, не желая предстать пред голубыми очами шаха, отнекивался, но в третий раз тот прислал за ним специальную депутацию, не поехать на сей раз к Кадjarу было нельзя, это дорого бы обошлось Бакинскому ханству, и Гусейнгулу-хан направился в Шушу – навстречу собственной гибели.

В то время Молла Музаффар тоже был среди провожавших, и хан, прощаясь с ним, сказал:

– Прощай, Музаффар! Знаю, обратного пути нет!..

– Доброго пути тебе, хан! Никогда нельзя предугадать волю Всевышнего!

– На сей раз воля Аллаха известна! – сказал Гусейнгулу-хан.

– Не следует вмешиваться в дела Аллаха! – мягко оборвал его Молла Музаффар.

Через два дня хан добрался до Шуши, и в тот же вечер шах призвал его к себе. Голубые глаза шаха сверкали яростью, его безбородое лицо было перекошено нена-

вистью, и хотя с тех пор прошло восемь лет, но и сейчас, когда Гусейнгулу вспоминал те голубые глаза, то перекошенное от гнева, без единого волоска лицо, его всего пронзала волна страха. Визгливым, ставшим от ярости еще более тонким голосом Ага Мухаммед-шах кричал, что он, то есть Гусейнгулу-хан – предатель, утром шах казнит его, а всех его домочадцев вышлет в Тегеран, и тут же поручил, чтоб назавтра был готов указ о смещении Гусейнгулу с ханского трона.

А той же ночью был убит сам Каджар.

И Гусейнгулу-хан, и Молла Панах – тоже ждавший своей казни визирь Ибрагим Халил-хана, знаменитый поэт, писавший стихи под псевдонимом Вагиф, не подверглись смерти по приговору Ага Мухаммед-шаха Каджара, Аллах проявил к ним милосердие. Молла Панах был не только замечательный поэт, но столь же умный и изворотливый государственный деятель, именно он отправил Екатерине от имени Карабахского ханства оправленную драгоценными камнями трость, позже даже поговаривали, что одним из организаторов убийства Каджара был и он, Молла Панах.

Но сейчас не было просвета даже в игольное ушко.

И внезапно вдруг Гусейнгулу-хану вспомнилось одно стихотворение Моллы Панаха, и в голове зазвучали начальные строки этого стихотворения:

**Я правду искал, но правды снова и снова нет:
Все подло, лживо и криво – на свете прямого нет.
Друзья говорят – в их речи правдивого слова нет,
Ни верного, ни родного, ни дорогого нет.
Брось на людей надежду – решенья иного нет.**

(Перевод Константина Симонова)

И хан еле сдержался – время поджимало, – чтобы не прочесть про себя до конца это длинное стихотворение.

Гусейнгулу-хан снова устремил глаза на мангал, слой серого пепла понемногу накрыл краснеющие угли, – затем, отведя глаза от мангала, стал по одному обводить взглядом собравшихся: о чём задумались эти люди, о судьбе своей или судьбе ханства? Отчего удручен он сам, Гусейнгулу, что его тревожит – собственная судьба, судьба ханства или будущее абшеронцев?

Хан заёрзал на троне.

Хватит, достаточно укорять себя.

Снова наступила тягостная тишина, в это время с места что-то хотел сказать Махмуд-бек, но Гусейнгулу-хан, глянув на его кипящие страстью глаза, произнёс зло:

– Ты – помолчи! Известно, что ты нам скажешь!

Мангал постепенно остывал, и, казалось, с уходящим теплом улетучивались какие-то крохи – если и оставалось что-то у собравшихся из этих крох – надежд. Гусейнгулу-хан прикрыл веки, стал привычно массировать челюсть, это означало, что сейчас будет озвучено окончательное решение.

– А может... Может, попросим русского Наместника, чтобы... – произнес кто-то совершенно убитым голосом.

Хан, не открывая глаз, оборвал его на полуслове:

– Наместник Цицианов не из тех, кто принимает просьбы. У него самого не бывает просьб, всё, что говорит, не просьба – приказ! – и хан, обратившись к интенданту Рзе, сказал: – Встань-ка! Сколько у нас людей?

Подняв интенданта и задав ему этот вопрос, Гусейнгулу-хан снова внутренне усмехнулся: будто услышит другое число, да и был ли среди приглашенных на этот диван людей, кто бы не знал, что под ружьем во всём ханстве где-то порядка полтысячи человек.

– Пятьсот одиннадцать, – ответил интендант, поднявшись.

– И у меня четырнадцать всадников! – подал с места голос Махмуд-бек.

С явным, безнадежным сарказмом в голосе Гусейнгулу-хан сказал:

– Отлично!.. У него четырнадцать бойцов! Пойдёт и разнесёт в пух и прах почти десятитысячную армию Наместника! Утопит его корабли! А все орудия сбросит в море! Молодец! Мои поздравления! Может, пойдёшь, захватишь и Петербург?! А взяв в плен царя Александра, привезёшь его сюда и, заточив в клетку, станешь показывать народу, будто цыган медведя, не так ли?!

Никто из собравшихся даже не улыбнулся, не только потому, что опасались Махмуд-бека – это само собой, – но и потому, что за этой издёвкой таилась внутренняя горечь, и все ощущали её. Эта горечь, как прежде тепло мангала, охватила всю комнату, и серый пепел тлеющих углей будто тоже осел на эту горечь, ещё более усугубляя чувство безысходности.

С тем же горьким сарказмом хан продолжил:

– Ну как?! Как мы поступим?

– Будь нация едина, могли бы приволоочь сюда и самого Александра! – сказал с болью в душе Махмуд-бек.

Махмуд-бек был племянником – сыном сестры Гусейнгулу-хана, и то, что хан любил его даже больше своих детей, не было тайной никому не только во дворце, но и во всём ханстве. Умеющий идти на компромиссы, не склонный к самостоятельности, всегда ищущий кружные пути, способный хитрить и интриговать, даже иногда, когда позволяло время, почитывающий стихи, Гусейнгулу-хан видел в этом красивом пылком молодом человеке, уже достигшем тридцатилетия, то мужество, решимость, непреклонность, которых не доставало ему самому и о чём он переживал всю жизнь, и, видимо, оттого его любовь к племяннику была столь велика, что Гусейнгулу-хан был абсолютно уверен, что если в этом продажном мире найдётся хоть кто-нибудь, включая всю дворцовую знать и даже собственных отпрысков, то этим человеком, никогда не способным на предательство, явится именно Махмуд.

Говоря слово «нация», Махмуд бек имел в виду не только жителей Абшерона и даже не весь Азербайджан со всеми его ханствами, а всех живущих на свете тюрок – пылкие тюркофильские убеждения этого молодого, именитого бека, разумеется, были хорошо известны всем собравшимся.

– Ладно, удаль твоей нации перед нашими глазами! – сказал Гусейнгулу-хан.

– Нам она известна! – редко когда Гусейнгулу-хан был столь разгневан. – Это мы знаем, национальный безумец! А сейчас? Что ты будешь делать сейчас? Завтра Цицианов ждёт ответа! Завтра! Не через три, пять дней – а завтра! Скажи! Скажи, чтоб мы услышали, что ты предпримешь?

– Буду сражаться, как Джавад-хан, и погибну!

Никто из сидящих полукругом на коврах в зале людей ничуть не сомневался, что Махмуд-бек будет верен своему слову.

Окончательно выведенный из себя Гусейнгулу-хан заорал:

– А потом? А потом что? Об этом ты подумал? Чтобы Цицианов превратил Бакинское ханство в такие же руины, как Гянджу? И, переименовав, назвал его именем

очередного гяура?! Так?! Я тебя спрашиваю?

Махмуд-бек, вскочив, хотел было что-то ещё сказать, но Гусейнгулу-хан буквально зарычал:

– Садись! Сиди и помалкивай! От тебя ещё молоком пахнет!

Не столько окрик, сколько внутреннее уважение к хану заставили Махмуд-бека, прикусив язык, сесть и замолчать.

Начальник канцелярии Мешади Гасанага был настолько удручен этой словесной перепалкой, и в целом, от беспросветной озабоченности, что и теперь не занёс в тетрадь ни единого слова.

А Гусейнгулу-хан, казалось, сам решил чуть смягчить эту напряжённую атмосферу:

– Хоть стой – хоть падай!.. Султан Селим не желает осложнять отношений ни с Россией, ни с Каджарами. Сейчас он занят реформами¹, да поможет ему Бог, но Баку ему даже во сне не снится...

Хан снова устремил глаза на мангал.

Корабельные орудия Завалишина нацелены на крепостные стены, правда, и прошлым летом тот же Завалишин, по приказу Цицианова бросив якорь в бакинской бухте, требовал от Гусейнгулу-хана сдать город, однако тогда бакинцы смогли оказать сопротивление: Завалишин осыпал ядрами Баку, но в конце концов, видимо, ядра кончились, а отряд Гусейнгулу-хана в четырёста всадников сумел опрокинуть русских пехотинцев, не позволив им пробиться в город. На сей раз положение было иным, Цицианов снова отправил Завалишина в бакинскую бухту, а сам, возглавив шеститысячный корпус, угрожающе навис над Баку. Их пушки превратят город в развалины, в том, что Наместник поступит именно так, Гусейнгулу-хан нисколько не сомневался.

Намерения Цицианова были известны: после подчинения себе Ширванского и Бакинского ханств река Аракс превратится в чёткую границу между русской империей и Каджарами, это, конечно же, было начальной целью: аппетиты царя Александра простирались намного дальше, и Цицианов был тем самым человеком, который сознавал значение для России планов государя, мог ценить по достоинству эти планы и проводить их в жизнь.

Условия Наместника были следующие: Баку обретает статус портового города, в нём размещается войсковая часть в тысячу человек – русские называли его гарнизоном, ежегодно хану выплачивается зарплата в тысячу золотых рублей – словом, Бакинское ханство стирается с карты Южного Кавказа.

– Можно мне? – попросил слова Шариф-бек, толмач Гусейнгулу-хана.

Все, в том числе, и сам хан, отлично знали убеждения Шариф-бека, но не смотря на это, кивком головы он дал согласие:

– Господа! – Шариф-бек поднялся. – Добро и зло – побратимы. Мы должны найти общий язык с русскими. Наше единение с русскими – сегодня это путь, ведущий в науку, просвещение. Я сознаю, условия ультиматума тяжёлые, но не следует погружаться в траур, править тризну. Таков ход истории. Одно время миром правили арабы, наука и культура были связаны с их именами. Затем пришли османы. Но сейчас мы должны видеть и знать, что мир уже принадлежит Европе, России. Санкт-Пе-

¹ Султан Селим III при помощи специально приглашённого французского генерала Себастьяна проводил в армии реформы на европейский лад, но османское общество того времени не поддержало Султана Селима, довести реформы до конца не удалось, Султан был сброшен с трона и задушен.

тербург, господа, может стать для нас окном в Европу... Россия состоит не из одних цициановых, важно понимать это... В России много здравомыслящих, прогрессивных людей, их авторитет в обществе никак не ниже влияния цициановых. Россия, господа, сегодня на пороге великого возрождения... В России прокладываются дороги, развиваются промышленность, строительство, торговля, осваиваются новые промыслы, что тоже привносит новое качество этому развитию. В России открываются университеты, гимназии, школы, идет подготовка переводчиков, перекладывающих на русский язык произведения европейских учёных, писателей...

Собравшиеся оторопело вслушивались в речь Шариф-бека, часть из них не понимала до конца, о чём твердит толмач, другие пребывали в таком страхе и смятении, что им было не до сентенций Шариф-бека.

А Шариф-бек продолжал:

– Россия сегодня зачата большим просвещением и культурой, серьезной наукой и литературой. Приняв российское подданство, при условии, что будем верны данному слову, мы тоже обретём пользу от движения России к просвещению и культуре. И наши дети, господа, получив образование в Петербурге, Москве, в Европе, вернутся назад и в свою очередь станут просвещать народ...

Шариф-бек распаялся всё больше и больше, но Махмуд-бек оборвал его:

– Лучше бы тебе, Шариф-бек, не возвращаться из Петербурга, мы сейчас гордились бы, что там есть наш земляк, охотно прислуживающий русским!

Свободно владеющий русским и французским, хранящий в своём доме множество книг на этих языках, толмач Шариф-бек, получив образование в Стамбульском университете, отправился в дальние края, поездил по Европе, побывал в том числе во Франции, задержался в Санкт-Петербурге и, проучившись какое-то время там, вернулся в Баку. Через пять лет после этого – это было время, когда Наместником являлся Кнорринг¹, какая-то шпана ограбила, отняла все товары приехавших торговать в Баку русских купцов, и специально прибывший по этому делу в Баку русский консул в Тегеране Ваксенберг вёл долгие переговоры с Гусейнгулу-ханом, с тем, чтобы украденные товары были возвращены хозяевам. Правда, из украденного немало перепало и самому хану – это само собой – но разве станут грабители возвращать украденное?

Переговоры Ваксенберга окончились ничем, Гусейнгулу-хан, одарив его льстивыми обещаниями и личными подарками – обшитым изумрудами и сапфирами кисетом, ста фунтами соли и десятью золотыми монетами, отправил его обратно в Тегеран, консул с признательностью принял дары, даже попробовал на зуб каждый империял. Но как только Ваксенберг выбрался из Баку, он поднял такой тарарам, что по его настоянию командующий российской флотилией на Каспии Мочаков двинул корабль «Кизляр» в Бакинский порт, обстрелял город ядрами так, что пришлось возвращать товары русским купцам, а Гусейнгулу-хан, желая отвести от себя ещё большую беду, отправил Шариф-бека в Тифлис к Кноррингу с извинениями, затем, поняв, что дело оборачивается совсем худо, на сей раз послал всё того же Шариф-бека в Петербург с прошением к только-только вступившему на трон Александру «принять под своё постоянное и высокое покровительство Бакинское ханство».

В Петербурге Шариф-бека принял вице-канцлер Куракин² и вручил ему «Вы-

¹ Русский военачальник немецкого происхождения, генерал-лейтенант, барон Карл фон Кнорринг был до Цицианова главнокомандующим русской армии на Кавказе

² Князь Куракин А.В., русский государственный деятель и дипломат. За любовь к драгоценным камням его называли «Бриллиантовым князем».

сочайший указ» императора о принятии Бакинского ханства под своё покровительство, а также собственноручное письмо Гусейнгулу-хану с сообщением о высочайшем указе царя. Его величество Александр наказывал, чтоб бакинский хан строил отношения мира и дружбы с соседними ханствами, чтоб азербайджанские ханы тесно общались, заключали друг с другом дружеские союзы.

Когда Шариф-бек, читая, стал переводить царский указ и письмо Куракина, внимательно слушавший его Гусейнгулу-хан сказал:

– Шариф-бек, ты, видимо, неверно переводишь ...

– Ваше величество, – поразился Шариф-бек, – можете быть уверены, я перевожу точно, как изложено в указе и в письме.

Гусейнгулу-хан усмехнулся:

– Ну и что с того, что так написано? Этого они хотят? Отнюдь!.. Как бы не так! Враждуйте друг с другом, а мы станем расклёвывать вас по зернышку. Этого он желает, а не того, что пишет! Понял, Шариф-бек?!

...И на том нелёгком диване Шариф-бек – один из родовитых и известных бакинских беков – резко оборвал Махмуд-бека:

– Я – не прислуга и не такой невежда, как ты, Махмуд-бек!

Махмуд-бек словно не поверил своим ушам.

– Что? Что ты сказал? – пораженно спросил он.

Гусейнгулу-хан, угрожая пальцем, остановил Махмуд-бека.

– Ты – сиди! – и, закрыв глаза, словно обращаясь не к дивану, а самому себе, сказал: – Кончили!

Собравшиеся поняли, что хан, наконец, обнародует своё решение, хотя и без того все знали, каким будет оно, это решение; кто-то из духовных лиц – ахундов, не сдержавшись, расстроено произнёс:

– Конец нашей вере!

Тоска и горечь этих слов, казалось, повлияли на Махмуд-бека больше, чем надменная реплика Шариф-бека и окрик хана, ударив рукой по колену, он сказал:

– На земле сотни тысяч мусульман! Ты больше горюй о своём народе! Отчего горести собственного народа столь чужды вам, аксакал? Откроете рот, тут же толкуете о вере, исламе, а о бедах своего народа забываете, разве горести людей чужды исламу? Отчего вы об этом не думаете?

На сей раз Гусейнгулу-хан, будто не слыша слов Махмуд-бека, скинул с плеч на спинку трона тулуп, приподнялся.

– Господа! – сказал он и замолчал.

Вдруг в его голове вновь зазвучали строки из стихотворения визиря Моллы Панаха:

**Я правду искал, но правды снова и снова нет:
Все подло, лживо и криво – на свете прямого нет.**

И Гусейнгулу-хан, с трудом изгнав из головы строки Моллы Панаха, нарушил тишину:

– Выбора нет, на одной чаше весов – унижающий нашу честь ультиматум Цицианова, на другой – гибель и разор нашего народа. Я не вижу иного пути, чем, проглотив унижение, вручить ключи от Баку Наместнику... Иной возможности защитить жителей и сам Баку нет... Тяжелые условия, но остаётся снова уповать на тех же рус-

ских... Во времена безумного Петра русские тоже брали Баку, а чем это кончилось? Сами ушли, убрались... Всего лет десять назад войска Екатерины захватили Баку, помните, тогда этот самый Цицианов стал комендантом города. Прошло совсем немного времени – Екатерина околела, а отец нынешнего Александра взял и отозвал войска. Даст Бог, может, снова доведётся увидеть день, когда русские сами уйдут, уберутся отсюда.

Уже ломило не только в костях, боль пронизывала всё тело, Гусейнгулу-хан, наклонившись, взял с небольшого столика рядом с тронем серебряный, с шёлковой кистью колокольчик, зазвонил в него. Тем самым диван завершился.

* * *

ЕГО память восстанавливалась.

И по мере восстановления эпизоды в том видимом измерении сменяли друг друга.

Кто это, что это, где это? – то, что осело на дне ЕГО памяти, даже то, что было вне предела ЕГО памяти, то, чему ОН не был непосредственно свидетелем и теперь стало возрождаться, отчего-то стало видимым и сразу же ИМ узнаваемым. Прошлое ли это или будущее? – одни эпизоды сливались с другими.

ОН не хотел видеть всё, что проявлялось в том видимом измерении, но воскресшая память не зависела от желаний ЕГО бесплотной и невесомой субстанции.

2

Лихорадка, схватившая на Ширване, не отпускала князя Цицианова, по несколько раз на дню приступы обострялись, тогда он отставал от своих, затем вместе с офицерами-порученцами догонял войска, то, что во время столь важного похода его подстерегла эта подлая, вероломная болезнь, изнуряло, выводило из себя, но, странное дело, в трёх-четырёх верстах от Баку он словно обрел какую-то лёгкость, и эта лёгкость придала ему заметную бодрость духа.

8 февраля 1806 года по христианскому и 2 месяца шубат 1220 года по мусульманскому летоисчислению ранним утром князь Цицианов в сопровождении адъютанта, подполковника князя Элизбара Эристова – второй адъютант полковник фон Грендфальд остался в Тифлисе, выполняя специальные поручения главнокомандующего – и сержанта, едущего за ними, медленно приближался к знаменитым Двойным воротам Баку. Держа в левой руке уздечку, а правой – поглаживая холку Пантеры, этого любимого карабахского скакуна, он привычно думал, что Пантера обладает достоинством, не присущим большинству людей – верностью, и с ещё большей любовью потрепал холку коня.

Три с половиной года назад князь Цицианов, прибыв в Закавказье в качестве главнокомандующего, выбрал из десятка предложенных отборных коней этого скакуна, с того времени между ним и Пантерой возникла взаимная любовь. Всякий раз приближаясь к коню, князь трепал его холку, поглаживал шею, почёсывал живот, он почти физически ощущал радость и любовь коня, и ему думалось, что на этом свете единственно верное ему существо – этот конь. За свою жизнь князь не раз глядел в глаза смерти, и знал, что если когда-то смерть вцепится в его глотку, Пантера не

подпустит к нему никого, печаль и горечь сразят, убьют и коня – в этом князь несколько не сомневался.

Среди коней карабахской породы белый конь – редкость, Пантера был одним из таких исключительных экземпляров, в контраст окрасу князь Цицианов назвал его Пантерой, как это случилось, откуда возникла эта неожиданная кличка? – князь этому удивлялся и сам. Какая разница, и без того верность не имеет цвета, ибо верность – это дар, ниспосланный Создателем, и князь, поглаживая холку Пантеры, улыбаясь, мысленно обратился к нему: «Не так ли, друг мой Пантера?».

Пантера словно ощущал мысли, проносящиеся в голове своего седока, а князь, продолжая поглаживать холку коня, ясно чувствовал хмель и радость коня от этих прикосновений.

Чуть погода покажется Бакинская крепость.

И князь, верхом на Пантере, в сопровождении Гусейнгулу-хана, пройдя Двойные ворота крепости, окажется в Баку.

По сути в лице князя Цицианова Великая Российская империя навечно входила в Баку.

И словно торжество этих минут заставило князя подбочениться, он выпрямился в седле, глубоко вдохнул в себя воздух, холодный, но чистый и лёгкий, дующий с моря бриз, казалось, изгнал из его тела болезнь, привнеся чувство ещё большей гордости.

Бакинские улицы, базары, торгующие коврами и шёлком, чистые и горячие бани, один из шедевров мировой архитектуры древняя Девичья Башня, кипящий, как муравейник, бакинский порт, куда завозились товары со всех концов света, – ожили в памяти князя, всё это – «Слышишь, друг мой Пантера!» – через несколько минут будет принадлежать державе.

И всё это достигнуто по воле его величества императора, бессонных ночей князя Цицианова и меча – разящего меча князя Цицианова!

Он никогда не бахвалился собой, но на сей раз, улыбаясь, явно удовлетворенный, упрекнул себя: «Достаточно, князь, кажется, ты становишься слишком честолюбив», – но и в этом укорре таилось доброе возбуждение.

Князь Цицианов не был человеком, что бьет себя в грудь, удовлетворенный достигнутым, не тычет им кому-то в глаза, но был спесив, гордился своими победами и не скрывал этого ни от кого. Он презирал самодовольных людей, особенно высокопоставленных чиновников и генералов, но ему совсем была не по душе и ложная скромность.

Пару дней назад здесь прошла метель, и ещё не высох на земле мокрый снег, и грязь, смешанная с абшеронским песком, хрустела под копытами Пантеры. Князь хорошо знал эти места, не раз прежде вместе с Гусейнгулу-ханом охотился на зайцев, а в камышах, чуть поодаль от дороги – на уток, гусей, кашкалдаков.

В том 1796 году Цицианов впервые прибыл в Баку, тогда был просто комендантом города, 41-летним генерал-майором, сейчас ему пятьдесят один – пятьдесят два еще не исполнилось – а он уже генерал от инфантерии, владелец двух тысяч душ крепостных в Минской губернии, главнокомандующий, и теперь все царства Грузии-Кахетии и Имеретии, княжества Мингрелии и Гурии, по эту сторону Аракса, можно сказать, весь Северный Азербайджан – ханства Карабаха, Гянджи, Шеки, Ширвана, Джамаата Джар-Белокан уже в составе матушки-России, и в этот исторический день – 8 февраля 1806 года – и Бакинское ханство становится частью Российской империи.

Пройдёт совсем немного времени, все эти карликовые ханства и султанаты превратятся в губернию, быть может, эти исторические дни будут отмечены только лишь в работах историков, но даже это предположение князя Цицианова никоим образом не преуменьшало радость и значение, торжество и славу этого дня.

В этот исторический день князь Цицианов был горд и доволен не только самим собой, может, ещё больше он гордился матушкой-Россией, и это была истина, идущая из глубины его души.

Это происходило будто вчера – хотя с той поры прошло десять лет – её величество Екатерина II распорядилась о походе под командованием Валериана Зубова русской армии на Южный Кавказ; вступивший в Азербайджан Зубов выделил шеститысячный корпус для захвата Баку, тем временем и русский флот вошёл в бакинскую бухту, ханство без кровопролития приняло российское подданство, и главнокомандующий, хотя ему был не по душе молодой, заносчивый генерал-майор Цицианов, по указанию её величества назначил его комендантом города.

В те дни лютая жестокость Ага Мухаммед-шаха Каджара нагнала на Южный Кавказ такую волну страха и ужаса, что не только Бакинское, но и все азербайджанские ханы – сопротивление оказало единственно Дербентское ханство – искали опору, способную защитить себя и свои ханства, и такой силой обладала Россия. Даже Джавад-хан, вступивший в смертельную схватку с Цициановым и в 1804 году героически погибший вместе с сыном, защищая Гянджу, в том 1796 году, при приближении генерала Римского-Корсакова, не оказывая сопротивления, открыл настезь ворота города, и русский гарнизон вошёл в Гянджу, притом, что сам хан тоже был из рода Каджаров.

В то время на Южном Кавказе из-за страха местных жителей перед Каджаром даже самые никчёмные и неумелые русские генералы, часто не проливая ни капли крови, одерживали мелкие, местечковые победы, преподнося их её величеству как примеры героизма, и тем самым добивались высоких чинов и наград. Тогда сам страх перед умным, талантливым, смелым и в той же мере деспотичным Ага Мухаммед-шахом Каджаром, по сути, являлся невидимым союзником России на Южном Кавказе, но как использовала империя это благоприятное стечение обстоятельств? – сразу после смерти её величества несчастный Павел неожиданно отозвал войска.

Сам того не желая, князь отвесил на шею Пантеры пару мягких шлепков, – всякий раз вспоминая это непостижимое решение, непростительную ошибку Павла, а вспоминал это Цицианов часто, он раздражался, предельно сожалел о потерянных десяти годах, особенно теперь, когда в Европе объявился Бонапарт. Через год, в 1797 году, Павел отправил его – талантливого, но оппонирующего генерал-майора в отставку по состоянию здоровья – на здоровье он, конечно же, ничуть не жаловался – и князь Цицианов узнавал о происходящих на различных фронтах событиях из газет и от военных, прибывавших с этих полей сражений. Те четыре года вынужденной отставки князь считал «чёрными днями отдыха», если и имелось что-то чуждое его природе и убеждениям, это был такой вот отдых – без дела и применения простой.

А теперь главнокомандующий Кавказской армией князь Цицианов вступал в Баку.

И самые удивительные воспоминания приходят, как правило, неожиданно; приближаясь к Баку, в эти торжественные мгновения Цицианов внезапно вспомнил Бабуа¹ Арчила и, подняв произвольно голову к небу, улыбнувшись, спросил про

¹ Бабуа – дед (груз).

себя:

«Ну, как там, Бабуа?»

Кто знает, быть может, Бабуа на самом деле сейчас глядит на него? Кто на это может ответить – «да» или «нет»? Никто! В том измерении нет никакой разницы между «да» и «нет», утверждением или отрицанием.

«Во всяком случае, Бабуа, если ты там, прими привет от Пааты!..» – снова улыбнулся князь.

Паата? Уже который год это имя – Паата – не вспоминалось Цицианову, и в эти минуты, приближаясь к Баку, он вспомнил ещё одно: Бабуа усердно заставлял его, маленького Паату, вызубрить какое-то слово. Что это было за слово? Какое слово? Что оно означало? – этого князь вспомнить никак не мог.

И не вспомнив то слово, Цицианов решил в подобный замечательный день не утруждать себя – Паата навсегда остался в прошлом, ныне речь может идти о генерале от инфантерии, князе Павле Дмитриевиче Цицианове, слышишь, Бабуа Арчил, генерале от инфантерии Павле Дмитриевиче Цицианове!

Дальше воспоминания унесли его в сентябрь 1802 года – это было три года тому назад, когда, отправленный Павлом в отставку, он мог лишь вспоминать о войнах и сражениях, в которых участвовал три десятка лет.

После смерти несчастного Павла, нет, не смерти, а убийства – всё следует называть своими именами и признать реальность убийства – взошедший на престол император Александр I сразу же вернул его на военную службу, дал звание генерал-лейтенанта и, освободив от должности барона Карла фон Кнорринга, назначил его, Цицианова, военным губернатором Астрахани, командующим Кавказской армией, Наместником царя на Южном Кавказе.

«Ты хоть что-то знаешь, Бабуа, об этих постах, званиях?»

Его величество – этот молодой, образованный, самый миловидный в Европе правитель, встав из-за стола, остановился напротив Цицианова, улыбнувшись, обхватил обеими руками руки князя, пылко сжал их:

– Я желаю вам, князь, – сказал он, – только здоровья! Ибо убеждён: удачи России на Кавказе будут связаны с вами! И ещё: я заклинаю вас, берегите себя! Я знаю, куда вас направляю! – и император повторил: – Берегите себя!

Новый главнокомандующий понимал, что его направление на Южный Кавказ – одновременно своеобразная подготовка к схватке с Каджарами: подстрекаемый Англией Фатали-шах ввяжется в войну с Россией – дело только в сроках.

В те мгновения, когда он стоял напротив его величества, всем своим существом ощущая теплоту и сердечность этого двадцатипятилетнего молодого человека, вознесённого на вершину власти огромной страны, его переполняло чувство радости, даже гордости, он гордился своей державой, своим императором, даже самим собой; за все долгие годы военной службы, быть может, впервые он боялся расслабиться, и правда, к горлу подступил предательский комок, боясь задохнуться, собравшись с силами, он постарался подавить свои чувства.

– Я стану молиться за вас... – сказал на прощание Александр, и в третий раз повторил: – Берегите себя!..

И эти слова его величества «Берегите себя!» князь Цицианов воспринял как солдат, и вероятно, благодаря молитвам императора, его покровителем в этом кровавом и коварном мире был Всевышний, Бог сам оберегал его.

* * *

В том видимом измерении неспешно продвигались трое всадников, двое впереди, рядышком – ноздря в ноздю, третий, чуть отставая.

И в ЕГО бесплотной и невесомой субстанции, словно из самой этой бесплотности и невесомости подняло голову желание: ОН хотел почувствовать запах того самого белого коня, что шёл впереди, но это было невозможно, внутри той бесплотности и невесомости не существовало запахов.

И ОН возжелал хотя бы вспомнить те радостные, вдохновенные и любимые чувства, связанные с этим запахом, но и это оказалось невозможно, ибо ОН пребывал внутри такой идиллии свободы и покоя, что даже эти чувства были чужды здешним (каким?) измерениям.

ЕГО память выхватывала и того белого коня, и его кличку – Пантера, а тем человеком, что восседал в седле Пантеры и чьи золотые погоны сияли под лучами солнца, был ОН сам...

Пантера, любя ЕГО, сидящего в седле, счастливыми шагами направлялся к Баку...

* * *

Едущий рядом с князем молодой подполковник Элизбар Эристов часто поглядывал на главнокомандующего, он ни разу прежде не видел главнокомандующего столь улыбчивым. Князь Цицианов в эти мгновения был абсолютно счастливым человеком, и это явное счастье как никогда раньше разливалось по его лицу. Это был удивительный, поразительный для подполковника Эристова момент, словно счастье тех мгновений князя отпечаталось и на удивлённом, изумленном лице Элизбара Эристова, это было радостное удивление и изумление – Элизбар Эристов всей душой любил своего главнокомандующего, откровенно гордился им.

Вот и она, Бакинская крепость...

Пётр Великий считал Баку ключом к путям, ведущим к тёплым морям, и вспомнивший это князь Цицианов, глянув на Элизбара Эристова, мысленно обратился к нему: «Ну что, молодой русский офицер! Слышишь?! Я – князь Павел Дмитриевич Цицианов, горжусь тем, что воплощаю в жизнь мечту Петра Великого!»

Не далее чем вчера Каджары получали немалую долю таможенных пошлин бакинского порта, вывозя в свою страну нефть и соль, не только обеспечивая себя, но какую-то часть еще и экспортируя.

Наконец кончилось все это.

Его величество император Александр I смог мастерски воспользоваться войной между Францией и Англией, всеобщей смутой в Европе, ослабленностью Османов и, как настоящий, масштабно мыслящий государственный деятель, почувствовал и понял: нельзя упускать момент поставить точку в отношениях с царствами Грузии и ханствами Азербайджана – у Англии и Франции не было ни сил, ни времени активно вмешиваться в события далёких Грузии и Северного Азербайджана.

Не было времени пока, и его величество сумел оценить это «пока» и использовать эту возможность.

Южный Кавказ в истории России будет связан с именем Александра – так и должно быть, ибо это правда, и, наверное, в той истории будет упомянуто и имя ге-

нерала Цицианова.

Князь снова приосанился, выпрямился в седле, словно хотел стать навтытяжку перед одержанными за эти три с половиной года державой победами.

После тяжёлого поражения под Аустерлицем его величество император, конечно же, был весьма расстроен, задеты его честь и гордость, и именно в такой час следовало поддержать его величество, не дать впасть ему в уныние, и князь Цицианов очень надеялся – по сути в этом можно было не сомневаться – взятие Баку принесет во внутренний мир императора умиротворение, положительные эмоции, станет для него новым весомым стимулом.

Князь Цицианов добился присвоения Гяндже имени Елизаветы Алексеевны – Елизаветполь, а Баку будет назван в честь Александра – не Баку, а Александрополь! – вероятно, его величество станет противиться, но Цицианов обязательно добьётся этого, как добился переименования Гянджи. Тогда князь Цицианов писал: «Если его величество сочтёт достойным одобрения мою нижайшую просьбу, осмелюсь предложить украсить это самое место – Гянджу – именем её величества, благословенной Елизаветы Алексеевны – Елизаветполем».

Точно так, как князь получил добро его величества на переименование Гянджи, точно так же он добьётся согласия и на название Александрополь, и это желание, мечта засели в мозгу Цицианова. «Александрополь...» – по мере того, как это слово, название звучало в голове князя, казалось, его сердце обдавала радостная, тёплая волна, и он чувствовал себя бесконечно счастливым, что было редким случаем в его жизни.

Александрополь станет самым развитым и замечательным портом на Каспии. Когда-то Цицианов распорядился: тот, кто назовёт Елизаветполь, как прежде, Гянджой, будет оштрафован на один серебряный рубль, подобное распоряжение он применит и здесь. Это – во-первых, а во-вторых, прикажет, чтоб и в Александрополе, и во всех мечетях Абшерона, во время намаза произносились молитвы в честь его величества императора Александра Павловича и всей императорской семьи.

Вот так-то!

Азербайджанцы – люди гордые, но опасаться этой гордыни не стоит, или, подобно некоторым русским дворянам, не ведающим, что творится на белом свете, придав этой гордыне романтические краски, уважать её – ничего путного не достигнешь, напротив, следует в назидание другим растоптать, сломить эту гордыню.

И в эти минуты, приближаясь к Двойным воротам Баку, князь вспомнил юного хана Дербента: в том самом 1796 году Валериан Зубов осадил с моря и с суши Дербентскую крепость – Дербентское ханство являлось воротами Северного Кавказа, – подвергнув жесточайшему обстрелу из пушек этот древний город, несмотря на яростное сопротивление 18-летнего хана – Шейха Али, потеряв 11 офицеров и 107 рядовых – число раненых перевалило аж за 300 – Дербент был, наконец, Зубовым покорён: осознав бессмысленность дальнейшего сопротивления, хан, в знак капитуляции повесив на шею меч, один, без всякого сопровождения, вышел из крепостных ворот к русским войскам.

Не нужно было быть особенно проникательным человеком, чтобы представить моральное состояние юного хана, и хотя с тех пор прошло немало лет, напряжённое и мученическое выражение его лица навсегда запечатлелось в памяти князя Цицианова.

И в эти мгновения, приближаясь к Баку, князь Цицианов отчего-то вдруг вспом-

нил мученическое лицо юного хана, напомнившее ему лик Христа по дороге к Голгофе. Разумеется, юному хану Дербента было куда легче покончить с собой тем самым мечом, чем, повесив его на шею, выйти навстречу осаждавшим, и чтобы увидеть, прочувствовать это, тоже не требовалось особой пронизательности.

Конечно же, необходимость, повесив на шею саблю, выйти к строю солдат, русских офицеров, генералов, распластанных в седлах своих коней, словно в мягких креслах кабинетов, потрясла гордость, честь и достоинство Шейха Али. Тогда, глядя на приближающегося к ним тяжёлыми шагами Шейха Али, князь Цицианов подумал, что этот короткий отрезок пути – из ворот Дербента до строя солдат и офицеров – для юного хана это долгий, никогда не завершающийся, несущий страшные нравственные муки путь, но что делать, иного выхода нет, так и должно случиться; именно так, в первую очередь, можно было растоптать и сломить гордыню самодовольных азербайджанских ханов, чванливых беков; князь Цицианов поступал именно так, ломал и крушил азербайджанских ханов и спесивых грузинских принцев и князей, не чувявших под ногами землю.

Адам Чарторыжский – министр иностранных дел России, родом из польских шляхтичей, поднял вопрос: дозволить азербайджанским ханам приезжать в Санкт-Петербург, чтобы лично вручать подарки его величеству, будто это ещё больше приближит их к России, но что возмёшь с Адама Адамовича, он считает, что ханы подобны польским вельможам. В Санкт-Петербург азербайджанских ханов пускать нельзя, ибо они должны всегда сознавать, что Санкт-Петербург – столица такой империи, где проживает сам царь, порог которого эти коварные, двуличные люди не достойны преступать; его величество столь велик и возвышен, что лицезреть его им не дано, как не дано смертному лицезреть самого Бога. Так и должно быть всегда.

Нет слов, Джавад-хан был достойным врагом – Цицианов писал ему: «Россия – империя, благословенная самим Создателем», но хан не понял этого, и судьба его вам хорошо известна, господин Чарторыжский!

Эти ханы – временщики, их подданные тоже должны знать своё место, и вы, господин Чарторыжский, поймите, нельзя управлять Южным Кавказом законами Российской империи, эти правители легко дают слово, клятвенные обещания, но принимать всерьёз их слова, обещания, клятвы – глупость, господин Чарторыжский, их следует давить, давить и ещё раз давить. И не стоит действовать согласно кодексу нравственности, опасаясь оскорбить и унижить таких, до мозга костей двуличных людей, уважаемый господин Чарторыжский, ведь порой эти оскорбления, унижения для них более смертельны, чем пули. Князь Цицианов писал султану Илису – этому карликовому правителю: «Ты – пёс по духу и осёл мозгами, тебе ли обманывать меня своими лживыми обещаниями? Знай, пока ты не станешь тем, кто выплачивает моему правителю дань, я тверд в решении обмыть свои сапоги твоей кровью».

Вот именно так!

В 1800 году, опасавшиеся Каджаров ханы Северного Азербайджана – Баку, Дербента, Кубы, Ленкорани, с присущей им вечной восточной хитростью, совершив очередной манёвр, вместе с хакимами Дагестана, направили свои депутации в Петербург, прося заступничества. По поручению бедолаги Павла их принял лично министр иностранных дел Растопчин и передал им дословный наказ императора: «Прежде уж вы сами определитесь меж собой, только после этого можете вступать с нами в союз».

Несчастный Павел... Вместо того, чтобы призывать к союзу, единству этих падших до власти грузинских принцев, князей, честолюбивых азербайджанских ханов,

кавказских хакимов-разбойников, следовало использовать их исконное неприятие друг друга, так необходимо поступать и сегодня. Со дня прибытия на Кавказ князь Цицианов повторял сам себе мысль, которой постоянно придерживался: Южный Кавказ лишь тогда будет полностью покорен, когда эти дикари, обладающие богатой историей, древней культурой, будут враждовать друг с другом, тянуть каждый в свою сторону, хватать за горло друг друга, и главное, чтоб эта неприязнь и вражда никогда не прекращались.

Князь Цицианов снова мягко шлёпнул по холке коня: «Такие вот дела, друг мой Пантера!»... – и снова улыбнулся.

В тот спокойный зимний погожий февральский день чистый и лёгкий бриз с Каспия несколько не мешал тишине, опустившейся на степь вокруг Баку, и прекрасное настроение князя Цицианова словно придавало этой тишине знаковый смысл: будто сама эта тишина в этом вечном краю ветров – он хорошо помнил ураганные бакинские ветра – в лице главнокомандующего говорила: «Добро пожаловать, матушка Россия!».

Князь снова подбодчился, выпрямился в седле.

Пантера, будто почувствовав доброе расположение седока, на мгновение придержал шаг, подняв морду, легко фыркнул, затем снова осторожно, но уверенно двинулся в сторону Двойных крепостных ворот Баку.

Иринарх Иванович¹, конечно же, человек хороший – поэт, писатель, к тому же друг незабвенного Александра Васильевича², но он не удержал в руках Баку, вот этого ему никак простить нельзя. Куда поэту, писателю до ратных дел? – пусть сидит дома, пописывает прекрасные и не очень стихи, и сейчас, покачиваясь в седле Пантеры, двигаясь по направлению к Баку, князь Цицианов окончательно решил, больше тянуть не следует, как только обустроится в Баку, отправит, за постыдное для русского воинства поражение, этого генерала-поэта в отставку. Дух Александра Васильевича на него не обидится, – князь улыбнулся, – Суворов привечал и его, недаром в одном из приказов войскам писал: «Сражайтесь столь же решительно, как доблестный генерал Цицианов!» – и эти слова запомнились генералитету – кто воспринял их с завистью, кто одобрительно, а кто даже с иронией: как известно, Суворов славился своими неповторимыми приказами.

Дело было в том, что 12 августа прошлого года, по приказу князя Цицианова, шеф Астраханского гарнизонного полка генерал-майор Завалишин, имея 12 кораблей, оснащенных четырьмя орудиями и семьями десантниками, вошёл в бакинскую гавань.

Гусейнгулу-хан снова принялся за свои хитроумные манёвры, давал всякие обещания, но так и не подчинился. Завалишин подверг Баку артиллерийскому обстрелу, выбросил на берег десант, но десант с позором был рассеян конницей Гусейнгулу-хана, к тому же кончились и ядра беспорядочно стрелявших корабельных пушек. А тут пришло известие, что вернувшийся на дербентский трон Шейх Али-хан совместно с Сурхаем, сыном Казикумухского хана, объединенным конным отрядом спешат на помощь Гусейнгулу-хану, и генерал-майору Завалишину не оставалось иного выхода, как 9 сентября, после бесславной экспедиции вывести флот из бакинской бухты.

Никогда прежде князь Цицианов не был столь разгневан, он обрушил на генерала Завалишина самые жёсткие упрёки и принял решение самому повести войска на

¹ Имеется в виду русский военный деятель генерал И.И.Завалишин.

² Имеется в виду прославленный русский полководец, генералиссимус А.В.Суворов.

Баку, но всё же прежде отправил того самого Завалишина в сторону Баку, тому хотя бы известен вход в бакинскую бухту, и, выдвинувшись к порту, он сможет нацелить орудия на крепость, что посеет панику в рядах Гусейнгулу-хана.

И Гусейнгулу-хан принял российское подданство.

Цицианов, указывая пальцем в сторону Бакинской крепости, сказал подполковнику Эристову:

– Князь, ты – свидетель исторического момента, и этот момент никогда не будет забыт тобой!

За эти три с половиной года главнокомандующий впервые обратился к своему адъютанту не привычно – «подполковник», а «князь», причём, не на «вы», а на «ты», что совершенно стёрло ещё не до конца пережитое Элизбаром Эристовым прежнее огорчение. Величие переживаемого момента, сердечность и тепло подобного обращения принесло приятную слабость, и Элизбар Эристов, подавив предательский комок в горле, сказал чуть дрожащим голосом:

– Я горжусь этим моментом, ваше сиятельство!

Дело было в том, что вчера вечером, когда князь Цицианов, спустившись с перевала Джанги, стал лагерем на границе Бакинского ханства, он получил сообщение, что Гусейнгулу-хан решил капитулировать. Уговорились, что завтра, то есть сегодня, Гусейнгулу-хан встретит его в трёх верстах от Бакинской крепости, на небольшой площадке перед колодцем, и вручит ему символический ключ от ворот города.

Сегодня утром князь Цицианов в сопровождении 200 всадников прибыл в обговоренное место, но его встретили хлебом и солью лишь Молла Музаффар и несколько бакинских аксакалов, именно они хотели вручить Цицианову ключ от Двойных крепостных ворот Баку.

Князь Цицианов счёл подобную церемонию вручения неуважительной к великой Российской империи и, вернув шкатулку с ключом, глядя на аксакалов, выразил своё недовольство толмачу Шариф-беку, потребовав, чтоб Гусейнгулу-хан лично вручил ему ключи...

Представители хана, забрав шкатулку, поскакали прочь.

Князь, оставив сопровождающих его всадников, вместе с подполковником Эристовым, верхом на Пантере направился к городу, чтобы там, на равнинной площадке перед Двойными крепостными воротами, лично принять от Гусейнгулу-хана ключи. Теперь их сопровождал лишь один сержант.

На этой враждебной равнинной местности подполковник Эристов, опасаясь за безопасность командующего, не удержавшись, сказал:

– Ваше сиятельство, может, приказать всадникам следовать за нами?

– Вы что, подполковник? – спросил главнокомандующий, улыбнувшись, и тон, которым был произнесен вопрос, звучал: «Неужто боитесь?» – Элизбар Эристов почувствовал, что краснеет – он не был трусливым офицером, Цицианов не раз являлся свидетелем этому.

Сейчас, в эти минуты, с приближением к Двойным воротам Бакинской крепости, Элизбар Эристов переживал чувство поистине несравненной гордости. Главнокомандующий прав: память об этих минутах будет сопровождать его до конца жизни. Казалось, князь Цицианов видел в этом умном и смелом офицере свою молодость, он был совершенно уверен, что этот молодой человек в будущем станет отличным генералом. Эристовы-Ксанскийские тоже происходили из древнего грузинского княжеского рода, их деды переехали из Грузии в Россию даже раньше Цициановых. Подполковник

Эристов был верным присяге, преданным императору русским офицером.

И князь Цицианов снова вдруг вспомнил Бабуа Арчила: «Я знаю, Паата, ты станешь большим генералом!»

Князь улыбнулся и, мысленно произнеся: «Эй, Бабуа!..», – поднял голову к небу и с улыбкой удовлетворения на лице махнул рукой вверх.

Подполковник Элизбар Эристов с удивлением, которого не скрыть, тоже глянул на небо: что или кого приветствовал главнокомандующий на этом безоблачном небе? Удивление адъютанта не ускользнуло от внимания Цицианова, он еле сдержался, чтобы не расхохотаться.

Князь Цицианов строил свои отношения даже с самыми близкими генералами, офицерами строго официально, совершенно не интересовался их личной жизнью, но в это утро 8 февраля он словно превратился в совершенно иного человека, с радушием в голосе спросил:

– Я даже не знаю, подполковник, сколько тебе лет?

В подчинении князя Цицианова было немало князей, графов, офицеров из родовитых семей, но главнокомандующий даже в неофициальной обстановке обращался к ним только по званию. И на этот раз было точно также, но сейчас в его вопросе ощущалось тепло, и, чувствуя это радушие и явную приязнь, расположение, в этом совместном коротком отрезке пути по-настоящему пребывающий в состоянии пьянящего счастья Элизбар Эристов ответил:

– Двадцать девять, ваше сиятельство!

Двадцать девять... Он, то есть этот красивый и расторопный подполковник, мог по возрасту быть его сыном, и в этот миг в душе князя Цицианова поднялась так не соответствующая его нынешнему утреннему настроению ноющая, саднящая, глухая боль, и тотчас снова в голове князя, строка за строкой, зазвучало письмо маркизы де-Лафонжен.

Закрыв глаза, он взял себя в руки.

Когда они добрались до выровненной площадки перед крепостью, Двойные ворота открылись – видимо, люди хана глядели на них из-за бойниц крепости – и впереди Гусейнгулу-хан, рядом держащий на весу флаг ханства знаменосец, за ними Махмуд-бек, толмач Шариф-бек и ещё несколько человек. Подскакав, они стали лицом к лицу.

– Здравствуй, хан! – это приветствие князь Цицианов произнёс на ещё не забытом за десять лет азербайджанском.

– Добро пожаловать, ваше сиятельство! – сказал Гусейнгулу-хан.

Хан явно постарел, во всей его фигуре ощущалась усталость, и князь Цицианов, внимательно разглядывая его острым взглядом, чувствовал, что эта усталость не одного-пяти дней, это – усталость, накопившаяся, наслоившаяся за годы, и на какой-то миг словно тоже глянул на себя в зеркало и тотчас отвёл от этого мысленного зеркала взгляд.

Толмач Шариф-бек спрыгнул с коня и под полным сарказма и ненависти взглядом Махмуд-бека протянул Гусейнгулу-хану инкрустированную перламутром шкатулку из орехового дерева. Хан взял шкатулку – большой, с нежными узорами серебряный ключ лежал на зелёной шёлковой подушечке. Хан, всё так же сидя на коне, подъехал ближе к князю Цицианову, протянул ему шкатулку.

И в этот момент те двое, что стояли рядом с Махмуд-беком, мгновенно выхватили притороченные к седлам ружья. Два выстрела прозвучали один за другим.

Подполковник Элизбар Эристов с мгновенно застывшим на лице изумлением сполз, опрокинулся с коня на землю.

Всё это произошло столь неожиданно, что Гусейнгулу-хан застыл, как был в седле, с протянутой вперёд рукой с шкатулкой, затем, придя в себя, во всю мочь, так что выступили синеватые сосуды на его тонкой шее, крикнул:

– Эй, стойте! Что вы творите, сучье отродье?!

Поначалу князь Цицианов ничего не понял, удивлённо подумал, откуда же прозвучали выстрелы, и с тем же удивлением посмотрел на распластавшегося на земле адъютанта, но после истерического крика Гусейнгулу-хана понял, что произошло что-то непредвиденное, он непроизвольно потянулся рукой к висевшей на поясе сабле, но схватиться за рукоятку не смог и медленно свалился набок, чуть в стороне от коня.

Сопровождавший князя и его адъютанта сержант, очнувшись раньше всех, в явном ужасе повернул своего коня вспять и ускакал прочь.

Толмач Шариф-бек, крича: «Князь!.. Князь!...», подбежал к князю, вся грудь которого была в крови.

Князь услышал этот доносящийся откуда-то издали крик, и ему почудилось, что это Бабуа Арчил зовёт его откуда-то из небытия своим ласковым голосом.

Его щека касалась земли, и в эти стремительно проносящиеся мгновения князь почувствовал во рту вкус грязи, и в его угасающем сознании пронеслось: «как некусна земля...».

И князь Цицианов внезапно вспомнил слово, которому его учил Бабуа Арчил: «Паата, повторяй: Хмерти!¹ Повторяй!»

В последний миг своей жизни князь Цицианов прошептал: «Хмерти!»

Но ему не достало времени осознать значение этого слова.

* * *

Для НЕГО не было границ движения, и ОН уже знал, что в этой видимой ЕМУ субстанции нет и границ времени, ибо тут (где?) не было и самого времени.

ОН мог видеть каждый миг своей жизни в той видимой субстанции, даже миг своего рождения.

Вдруг ОН увидел того кричащего младенца, только что покинувшего материнское чрево, тем малюткой был ОН сам, а нервно вышагивающий в смежной комнате – князь Дмитрий Павлович Цицианов – ЕГО отец.

Сидевший в мягком кресле, дымя трубкой, Бабуа Арчил говорил: «Успокойся, Дмитрий, всё будет хорошо!..», и в это время, осторожно держа на руках только что рождённого младенца, в комнату вошла мадам Женон, сказала на русском, но с французским прононсом: «Елизавета Михайловна осчастливила вас сыном, Дмитрий Павлович!», затем, приподняв ЕГО, кричащего младенца, показала отцу – ЕГО отцу.

ЭТОТ малютка, конечно же, не знал, не мог знать, что ждёт ЕГО в той видимой субстанции, но самое главное, не мог ведать о такой вот идиллии будущей свободы, покоя, независимости, о такой бесплотности и невесомости, которые будут поджидать ЕГО после бесчисленных событий и катаклизмов в той видимой субстанции.

И в сравнении со свободой и независимостью этой бесплотности и невесомости, сменяющие друг друга эпизоды той видимой субстанции внезапно, в этот последний – в какой последний? – момент показались ЕМУ бессмысленными.

¹«Хмерти» – по грузински означает «Бог»

Все ЕГО чувства говорили, что это не конец, здесь нет ни начала, ни конца, что всё ещё впереди...

...Но что такое «впереди» и где оно?..

3

В тот самый день, 8 февраля 1806 года по христианскому и 2 месяца шубат 1220 года по мусульманскому летоисчислению, был полдень, когда Гусейнгулу-хан созвал чрезвычайный диван. Весть об убийстве Цицианова разнеслась столь стремительно, что о нём прознали даже в отдалённых бакинских селах, словно эту весть разносили птицы – вороны, голуби, воробьи – не покидающие Баку даже в зимнюю пору.

Гусейнгулу-хану не сиделось на троне. Раздражённо перебирая ярко-красные камни коралловых чёток, привезённых ему в дар Гаджи Мухтаром из священной Мекки, он прохаживался взад и вперёд по залу, мимо сидевших на коврах, сложив под себя ноги, погруженных в молчание сановников – членов дивана, и в этот момент хан внезапно услышал доносящиеся откуда-то издали звуки музыки. Но на самом ли деле играли на чем-то, или эти звуки возникли в его натянутых будто струны нервах – хан этого не понял, даже не мог определить мелодию, и ему снова на ум пришли строки стихотворения визиря – Моллы Панаха.

**Я правду искал, но правды снова и снова нет:
Все подло, лживо и криво – на свете прямого нет.**

И вдруг произошло непостижимое: в самый тяжёлый, напряжённый момент жизни в душе Гусейнгулу-хана родилось желание слагать стихи, будто в одно мгновение в его душу – душу человека, никогда прежде не писавшего стихи, даже не помышлявшего об этом, лишь иногда, когда позволяло время, любившего почитать стихи и благодаря исключительной памяти запоминавшего многие из них, – вдруг пришло вдохновение, и внутри его начали слагаться строки, как бы стихи-посвящения Молле Панаху.

Внутренне поражённый, он едва сдержал себя, чтобы громко не выплеснуть на головы членам дивана эти произвольно пришедшие сами по себе на ум строки. Вглядываясь в окно на установившуюся после позавчерашнего урагана спокойную, ласковую погоду, он подумал, что «та метель бушует не за окном, а в моём сердце», и почувствовал, что всё его существо наполняется строками, стихами именно этого содержания, и вот-вот они извергнутся наружу.

Вероятно желая отрешиться от этого безумного наваждения, Гусейнгулу-хан торопливо сел на трон и, ударя кулаком правой руки по подлокотнику трона, крикнул на Махмуд-бека:

– Знаю, это всё твои дела! Закую руки и ноги в кандалы, посажу в клетку и вместе с трупом Наместника отправлю тебя к русским!

Махмуд-бек, как всегда сидевший на привычном месте, прямо напротив Гусейнгулу-хана, отвёл глаза и, глянув в сторону дверей, словно собираясь встать и уйти, сказал:

– Отправляйте! Отправляйте, чтобы русские вздёрнули меня на виселице! Чем жить под пятой русских, в сто раз почётней висеть над их головами!

Зал для заседаний дивана был переполнен таких страхов, мысли придворных были столь растерянными и паническими, что никто не обратил внимания на подобную запальчивость Махмуд-бека по отношению к хану.

А в душе Гусейнгулу-хана рождалось новое стихотворение, связанное с ложью и двуличием людей в этом бренном мире, на деле героем этого стихотворения был он сам – Гусейнгулу-хан: сейчас он признавался самому себе, что в глубине души знал, чувствовал, что Махмуд на встрече с Наместником обязательно что-то выкинет, но все же взял его и нескольких его всадников, и в стихах, клокочущих в его душе, было и то: стой, погоди, кого ты хочешь обмануть? – ты не только предчувствовал, ты этого желал.

Человека называют жемчужиной всего сущего на земле, но самое страшное, самое коварное и ненасытное на свете существо – это сам человек, ибо на деле людьми управляет не Аллах, а Сатана. Боже, прости меня!.. Что это за грязные, подлые мысли посещают, Гусейнгулу, твою голову, когда отправишься в Божье царство, разве сможешь ответить за нечестивые мысли, что роются в твоём мозгу? Откуда подобные мысли в такой момент, и что это за низкая страсть к стихам?

С одной стороны, растерянность, с другой – стыд перед самим собой не давали хану собраться с мыслями, и этот человек, вся жизнь которого прошла в мире политики, в повседневной борьбе за удержание трона, власти, боялся, что вдруг встанет, убежит, найдёт какую-нибудь нишу, дальнюю комнату, наглухо заперётся в ней, чтоб никого не видеть, отрешиться от всего на свете, стереть из памяти полные страхов страницы жизни, день и ночь писать стихи – но теперь не о бренности существования, лжи, коварстве, интригах, предательстве, а о розах и соловьях, свечах и мотыльках, любимых и возлюбленных...

Чтобы спастись от нового, кинжалом вонзившегося в его мозг наваждения: стихотворения-жалобы, он обвёл покрасневшими от напряжения глазами сидящих перед ним приближённых, спросил:

– А где толмач?

– Нет его... – ответил начальник канцелярии Мешади Гасанага.

– Как это его нет? – рявкнул Гусейнгулу-хан.

Всякий раз, когда хан в гневе срывался на крик, начальник канцелярии Мешади Гасанага, своей культурой и обходительностью уважаемый во всем Абшероне, краснел и путался, но совершившееся утром покушение так подействовало и на него, что он не растерялся, ответил:

– Искали повсюду, ваше величество, Шариф-бек исчез.

– Наверное, убежал вместе с русскими, – не сдержался Махмуд-бек.

Гусейнгулу-хан снова прикрикнул на племянника:

– Я же приказал тебе – помолчи! Клянусь единым Аллахом, я сам велю тебя повесить! – хан снова ненадолго замолчал, затем сказал: – Или ты думаешь, что русские больше не вернуться?

... После покушения на князя Цицианова русскую армию охватили страх и растерянность, войска отступили к Ширвану, а флот, по приказу генерал-майора Завалишина, снялся с якоря, направился к острову Сара, близ Ленкорани. Жители Баку, высыпав из крепости на берег, следили за военными кораблями, пока они окончательно не скрылись из глаз, и впервые за все эти дни вздохнули спокойно.

Невежественный люд... Они думают, что беда, словно ветер, прошелестела стоною, им даже и не приходит в голову, что настоящее начнётся только теперь, и на

сей раз Гусейнгулу-хан обратился к Молле Музаффару:

– Что посоветуешь? Что предпринять? Каким пеплом осыпать нам головы?

Молла Музаффар сидел, устремив глаза на узоры ковра Гаджи Мухтара, и различные краски этих узоров – синие, красные, зелёные – в тот момент сообщали лишь о чёрных и смутных делах этого света. Всё так же не отводя глаз от узоров, какое-то время он молчал.

Преследующие друг друга, доносящиеся будто откуда-то из небытия, полные жалоб и горестных нот строки заставили Гусейнгулу-хана вторично уже дрожащим голосом спросить:

– У тебя нет никакого предложения, Музаффар?

Как ни озабочены были собравшиеся в зале, они ощутили надтреснутость в голосе хана и отнесли это к тягости ситуации, сложившейся с покушением на Наместника. Гусейнгулу и сам ощутил дрожь в своём голосе и с горестной иронией подумал: кто же, кто же поверит, что в такой момент внутри него извергаются строки стихов, и он всеми силами старается подавить это извержение. Судьба надсмехается над ним, что ли?

Молла Музаффар наконец отвёл взгляд от красочных узоров ковра Гаджи Мухтара.

– Есть, – сказал он, и этот его ответ словно вывел собравшихся из полного смятения и оцепенения, все устремили глаза на Моллу Музаффара, и даже атаки поэтических строк, бушующих в груди Гусейнгулу-хана, казалось, притихли. – Я беру на себя большой грех... – произнёс Молла Музаффар, – но сказать должен: это как-то может спасти людей... – Молла Музаффар сделал паузу, затем продолжил: – Россия стала нашим вечным врагом, рано или поздно нам придется ответить за это злодеяние... Следует как-то защитить народ. В этой ситуации надежда лишь на Аллаха и ещё на Каджаров, иного выхода и опоры у нас нет ...

Слушавший с забрезжившей было надеждой Моллу Музаффара, Гусейнгулу-хан сразу же встрепенулся:

– Музаффар, неужто ты запямятовал, – огорченно спросил он, – какие беды насылал на наши головы Ага Мухаммед-шах Каджар?

– Нет, не забыл, – ответил Молла Музаффар.

Гусейнгулу-хан, быть может впервые в жизни, с явной издёвкой в голосе спросил Моллу Музаффара:

– Так что ты думаешь, Баба-хан¹ ни с того, ни с сего вдруг станет поглаживать нас по головке?

– Нет, я так не думаю. Следует, не теряя времени, наладить дружеские отношения с Баба-ханом... А затем – на всё воля Аллаха!..

– Дружеские отношения? – усмехнулся хан. – Как наладить дружеские отношения в подобной ситуации – между молотом и наковальной?

– Отправим ему подарок...

Когда Молла Музаффар произнёс, что у него есть предложение, стремительность рождения стихотворных строк несколько угасла, но предложение о подарке вновь оживило стихотворные строки, и хану подумалось, что Музаффар, старея, глупеет; сколько мы надавали обещаний и Аббасу Мирзе, и Фатали-шаху, его отцу, ни одно из них не выполнили, приняли российское подданство, и теперь за один какой-то подарок, столь злопамятный человек, как Фатали-шах, поверив, станет водить с

¹ Так звали Фатали-шаха, племянника Ага Мухаммед-шаха Гаджара, до его восшествия на престол.

нами дружбу?

Тем временем строки увеличивали свою неодолимую стремительность.

– О чём ты говоришь, Музаффар? – голос Гусейнгулу-хана вновь надтреснул, задрожал. – Какой подарок? Если собрать всё, что у нас есть, это не составит и половины цены даже короны на голове Баба-хана. И из-за какого-то подарка он вдруг изменится, станет водить с нами дружбу? Будет гладить нас по головке?

– Давайте отправим ему совсем иной подарок...

Гусейнгулу-хан счёл безнадежным продолжать этот разговор:

– Какой-такой подарок, Музаффар, о чём ты говоришь?

Молла Музаффар прочёл про себя какую-то молитву, провёл ладонями по лицу в знак её окончания, сказал:

– Отправьте Фатали-шаху голову Наместника...

Атака стихотворных строк в груди Гусейнгулу-хана – это безумное желание слагать стихи вдруг ушло, и хан, выпрямившись на троне, явно изменившимся взглядом окинул собравшихся.

Зал дивана погрузился в такую тишину, что, казалось, никто даже не дышит, боится перевести дыхание, словно некие дервиши-колдуны, приворожив, превратили людей в каменные истуканы.

Начальник канцелярии Мешади Гасанага за всё это время ни разу не склонялся над лежащей перед ним тетрадкой, теперь же стал что-то стремительно записывать, и скрип гусяного пера на сей раз звучал в зале громче, чем когда либо.

Предложение Моллы Музаффара оказалось неожиданным и столь же неожиданно привлекательным, как бы там ни было, Гусейнгулу-хан словно глотнул свежего воздуха, и строй стихотворных строк в его мозгу на сей раз обратился в сменяющие друг друга суждения, предположения, надежды. Мосты с Россией сожжены напрочь, Россия никогда не простит убийства Цицианова, здесь уже ловить нечего. Но это подношение могло заставить хоть ненамного изменить отношение Фатали-шаха, усмирить его гнев. Войска Аббаса Мирзы уже на этом берегу Аракса, Фатали-шах, воспользовавшись моментом, пока русские ещё не оправились, мог двинуть войска на Баку, а дальше – всё в воле Аллаха!

Вместе с головой Цицианова можно послать Фатали-шаху и письмо с заверением, что Гусейнгулу-хан вместе со своей конницей в 600 человек, пушками, ружьями, порохом – словом, всем, что у него в наличии – может выступить из Баку, переговорив с Мустафа-ханом, вне зависимости, получит его согласие или нет, направиться в Ширван, чтобы встретить Аббаса Мирзу. Правда, Мустафа-хан уже подписал договор с Наместником, принял российское подданство, но если узнает, что к нему приближается со своей армией Аббас Мирза, что ему остается, как не нарушить договор? Но если русские скоро придут в себя и двинут войска на Баку раньше Аббаса Мирзы, то он, Гусейнгулу-хан, все же сможет, собрав своих домочадцев, бежать в Тегеран и найти там убежище.

Гусейнгулу-хан повернулся к Махмуд-беку:

– Ты организовал убийство, вот ты и отвезёшь в дар Фатали-шаху голову, – затем обратился к Молле Музаффару: – А тебя, Молла, я прошу поехать вместе с ними, в знак уважения, да и для присмотра! С этим делом, Музаффар, тянуть нельзя!..

И Гусейнгулу-хан поднялся с трона и поспешно покинул зал.

Как правило, когда завершались собрания, хан звонил в серебряный колокольчик, и приглашённые начинали покидать зал, но на сей раз Гусейнгулу-хан, встав

с трона, спешно вышел первым, так как внутри его уже складывались стихи-подражания визирю Молле Панаху, говорящие о чёрных деяниях этого брэнного мира, они были готовы извергнуться из груди, и преодолеть это извержение он был не в силах.

4

В 1797 году Ага Мухаммед-шах Каджар предпринял второй поход на Карабах и наконец смог взять неприступную Шушинскую крепость, и, подобно несчастному Павлу в своей спальне, в Шуше той же ночью был убит ближайшими соратниками. Поговаривали, что один из заговорщиков перерезал монарху кинжалом горло, в последнее время это событие часто вспоминалось князю Цицианову – отчего? разве покушения на правителей были столь уж редким делом, что о них следовало помнить? Князь и сам поражался этому, однако, особенно по ночам, когда вспоминалось это событие, как и тридцать лет тому назад у прежнего молодого офицера, так и у нынешнего Наместника Кавказа, 51-летнего генерала от инфантерии Цицианова, содрогалось тело, к горлу подступала рвота. Всякий раз, когда это видение вставало перед его глазами, оно было столь же впечатляющим, почти как в первый же день, это видение отложилось в его памяти и чувствах.

...Когда палач, схватив за волосы, поднял вверх упавшую на эшафот голову разбойника, ещё не стужившаяся кровь по капле сочилась из отрезанного горла, и видимо, навсегда отложившаяся в его памяти именно эта картина вставала пред глазами Цицианова, иногда ему казалось, что эти капли крови стекают не на деревянный настил, а прямо под его ноги.

В прошедшие с того январского дня тридцать лет жизнь князя Цицианова была полна воспоминаний, едва ли вмещающихся в эти тридцать лет, но тот день, 10 января, имел особое, отчетливое, памятное со всеми подробностями место среди этих воспоминаний.

Морозный зимний день 10 января 1775 года резал будто бритва. Молодого офицера, направляющегося к Лобному месту по засыпанной снегом улице, охватило такое волнение, что холод трескучего мороза не мог пробить пласт, броню этого волнения.

Улицы были столь многолюдны, полны горожан, что проехать к Лобному месту на санях или верхом было немислимо, и в тот зимний день Павел Цицианов шёл пешком, проваливаясь почти по колено в снегу, чтобы увидеть казнь донского казака – разбойника Емельки Пугачёва. Большинство служащих с ним в полку офицеров – все эти молодые князья, графы, просто дворяне – не желали присутствовать при казни, с юношеским максимализмом они считали, что стоять лицом к лицу со смертью можно лишь на поле брани или на дуэли, но лицезреть казнь как театральное представление вместе с трактирщиками, завсегдатаями кабаков, шинков – значит уподобиться этой черни, трактирщикам и пьяни.

В то время – впрочем, даже и сейчас – Павел Цицианов так не думал, ибо Емельян Пугачёв был не просто злодеем и разбойником, он совершил преступление против государства, поднял нищий и обездоленный сброд против великой Российской империи, и каждый, кто дал присягу защищать с оружием в руках отчизну, должен увидеть казнь негодяя – это его долг.

И юный князь Цицианов, пробиваясь в наступающей на ноги, толкающейся, прижимающейся плотной толпе, где и бабы, и мужики ругались площадным матом,

и изо ртов которых несло дешёвой водкой, самогоном, вином, чесноком, солёным огурцом, запахами корчмы, все это словно кричало о мерзости самого Емельки Пугачёва, – но он, 21-летний Павел Цицианов, присягнувший на верность государству и её величеству императрице, гордящийся этой верностью русский офицер, должен был увидеть собственными глазами казнь предателя.

Хруст снега под ногами сливался с гулом людей, и позже, когда князю Цицианову вспоминался этот гул, ему казалось, что в нём была ненасытность набрасывающейся на падаль гиены.

– Надо четвертовать этого негодяя!..

– Надо искромсать его живьем на куски!..

– Всех, всех! Изрубить всех на куски! – кричали мужчины и женщины так, что проступали жилы на их шеях, в большинстве своем они были такие же, как Пугачёв, отбросы общества, толкая друг друга, они двигались к Лобному месту с такой страстью, будто там, на месте казни, станут разбрасывать монеты или бесплатно разливать водку.

Пугачёв совершил преступление против государства, и такие же, как он, окружавшие его разбойники, как только Емелька дал слабину, самые близкие сообщники, желая сохранить свою гнусную жизнь, совершили предательство, тотчас связав по рукам и ногам своего предводителя, выдали властям.

И этот самый предводитель – Пугачёв, как только во время следствия граф Панин отвесил ему пару тумачков, сполз, как пёс, на колени, и тотчас признался во всех своих злодеяниях. Емелька объявил себя Петром III, и те, кто принимал его за Петра III, кто примкнул к нему, проводил в жизнь его преступные замыслы, виляя хвостом перед ним – теперь эти людишки, проклиная, требовали четвертовать, изрубить его на куски.

– Везут!..

– Везут!..

– Везут!..

Толпа, пришедшая в возбуждение от радости, интереса перед казнью, словно выполняя чей-то приказ – торопливо раступившись, открыла проход. Вначале появился отряд кирасиров, затем сани, на которые была водружена железная клетка. За санями отряд всадников, за ними – закованные в кандалы, босые, осуждённые пугачёвцы, и в первом ряду их – правая, разящая рука Пугачёва – Афанасий Перфильев.

Закованный в кандалы Пугачёв сидел на скамье внутри той железной клетки. Голова его была непокрыта, волосы и борода всклокочены. В каждой руке он держал по жёлтой свече, свечи горели, расплавленный воск капал на его ладони, но он не обращал на это внимания, его сверкающие то ли от страха, то ли от ненависти черные глаза были устремлены на сидящего напротив в той же клетке духовника.

Под гул толпы сани продвигались к Лобному месту, и после пьяного, рассекающего этот гул выкрика: «Сначала надо воткнуть в его ж... кол!» – раздался пьяный хохот, а в это время, поднявшись со скамьи, отвешивая во все стороны поклоны, Пугачёв стал хриплым голосом кричать:

– Прости меня, православный народ!.. Прости!..

Раздался ещё больший гул, и этот гул совершенно не прощал, напротив, проклинал его:

– Да чтоб твою мать!..

– Отрежьте ему и язык!..

– И уши тоже!..

А этот негодяй, не обращая внимания на проклятия, словно даже не слыша их, всё так же отвешивал во все стороны поклоны, выкрикивая те же слова:

– Прости меня, православный народ!.. Прости меня, православный народ!

Глядя на этого каналью, на лице которого запечатлелась вся низость его жизни, Павел Цицианов думал о том, насколько же надо быть лишённым самого простого понятия человечности, обладать столь первобытным мышлением, чтобы, признав это существо Божьим помазанником, примкнуть к нему и, идя за ним, вступить в схватку с самим государством, дабы посадить на трон такой империи, как Россия, подобного мерзавца.

Вокруг высоко возведённого эшафота были выстроены солдаты, офицеры в длиннополых, надетых поверх мундиров шубах, а поджидавшие Емельку два палача – эти люди трудной и столь же неуважаемой профессии, сидели на эшафоте и, то ли желая отречься от тягости своей судьбы, то ли в честь долга, который они вскоре исполнят, пили сладкое вино – палачам накануне церемонии казни дозволялось пить вино.

У этой площади, именуемой Болотной, была своя черная, вошедшая в историю Российской империи традиция: именно здесь была отрублена голова предшественника Емельки, такого же государственного преступника – Стеньки Разина, и молодой офицер Павел Цицианов считал эту показательную казнь выражением нравственного величия и могущества Российской империи как государства.

Рядом с эшафотом также были выстроены три виселицы, на них вздёрнут наиболее жестоких сподвижников Пугачёва, а самому ему и Афанасию Перфильеву сначала отсекут руки и ноги, затем голову.

Сани с Пугачёвым въехали на Болотную площадь, и гул бежавшей за ними толпы, облепившей дома, лабазы, харчевни, слился на площади с запахами сивухи, вина, чеснока.

Не столько, чтобы лучше видеть казнь негодяя, а чтобы хоть немного отстраниться от тошнотворного пара, исходящего изо ртов зевак, Павел Цицианов, не обращая ни на что внимания, с ненавистью расталкивая стоящих рядом людей, двинулся вперёд.

Сани остановились рядом с эшафотом, и внезапно, словно толпе снова был отдан приказ и она тотчас исполнила его, на площадь опустилась тишина – канун замечательного представления.

Солдаты, поднявшись на сани, открыли клетку, вытащили Пугачёва, и он, в сопровождении двух дьяков и духовника, поднялся на эшафот. Вслед за ними, освободив от общей цепи других приговорённых, подняли, толкая в спину, на эшафот и Перфильева, и каждый раз, когда босые, закованные в кандалы ноги Перфильева ступали по снегу, был ясно слышен их звон. И в те мгновения Павлу Цицианову думалось, что вина этих преступников перед Создателем и государством столь велика, что церковные колокола не станут провожать их в иной мир, где они будут гореть в адской геенне, их сопровождает в тот мир звон кандалов на ногах Перфильева.

На плечи Пугачёва был накинут белый барашковый тулуп, из открытого ворота тулупа виднелся малинового цвета кафтан, под хлопьями снега тулуп казался белее, а малиновый цвет кафтана сгущался ещё больше, обретая цвет крови.

Затем был отдан приказ «Смирно!», и военные вытянулись во фронт. Один из дьяков стал читать манифест, и когда было названо имя этого мерзавца, стоявший

внизу полицейстер с густыми бакенбардами и приплюснутой будто блин физиономией, глядя снизу вверх на Пугачёва, грохочущим басом – видимо, во всей Москве нашли полицейского именно с таким голосом, спросил:

– Ты – донской казак Емелька Пугачёв?

– Да, господин!.. – ответил Пугачёв всё тем же хриплым, уже начавшим дрожать голосом, – донской казак станицы Зимовейской Емелька Иванович Пугачёв – это я...

Разумеется, эти вопросы и ответы произносились для того, чтобы у толпы не осталось никаких сомнений, что этот негодяй, которого сейчас будут четвертовать, никакой, как он объявлял, не Пётр III, а жалкий, нищий донской казак, и чтобы через какое-то время эта самая толпа не составила героическую трагедию, что Емелька Пугачёв был настоящим императором, и, передавая это из уст в уста, не превратила его в святого.

По мере того, как читался манифест, Пугачёв крестясь и отвешивая поклоны, что-то шептал сквозь зубы, и в какое-то мгновение словно его взгляд столкнулся со взглядом Павла Цицианова. И у Павла родилось такое чувство – оно преследовало его по сей день, все эти годы, что тот кланяется ему лично – двадцатиднолетнему офицеру, прося прощения за преступления перед великой Российской империей.

В этом ощущении, чувстве была явная гордость: отъявленный разбойник, совершивший измену, преступление против империи, накануне казни просит в лице юного русского офицера прощения у империи и её величества.

Рябой, высокий, уродливый, с выступающим кадыком, Афанасий Перфильев явно был не в себе, не воспринимая происходящего, этот мерзавец, погубивший столько невинных душ, уже еле стоял на ногах, один из палачей поддерживал его за локоть. Перфильев, не моргая, устремил выпученные глаза на свои босые в сандалиях ноги, даже со стороны было видно, что тело этого негодяя содрогается от страха.

Как только был прочитан манифест, площадь снова загудела, духовник явно поспешно что-то сказал Пугачёву и Перфильеву, затем и он, и дьяки сошли с эшафота, и Емелька, часто, чуть ли не до земли кланяясь, снова стал кричать хриплым голосом:

– Эй, православный народ, прости мои грехи!... Эй, православный народ, прости мои грехи!..

И в этом нескончаемом гуле площадной ругани и проклятий Павел Цицианов с трудом разбирал слова разбойника:

– Прости мои грехи, православный народ!..

Стоящий на площадке напротив эшафота экзекутор наконец подал знак, и оба палача, с явным нетерпением ожидавшие этого знака, набросились на Пугачёва, сорвали с него белоснежный тулуп, с тем же остервенением разорвали ворот его малинового кафтана.

На площадь вновь опустилась тишина, и в этой ужасающей тишине Пугачёв присел перед плахой, вернее, его тело, словно растаяв, превратившись в жидкую массу, разлилось по эшафоту. Один из палачей, схватив за волосы Пугачёва, подтянул его голову к плахе, второй поднял над собой топор, что держал в правой руке, и в тот же миг голова Емельки скатилась на пол эшафота. Всё тот же палач, словно опасаясь, что напарник опередит его, наклонился, схватив левой рукой за волосы, высоко поднял голову мерзавца и, явно гордясь своим умением, обошел вокруг эшафота, демонстрируя голову окружившей со всех сторон Лобное место толпе.

Люди, в жажде увидеть голову Емельки, напирая, стремились пробраться поближе к эшафоту, создавшие руками цепь солдаты еле сдерживали возбуждённую массу.

Такая держава, как Россия, обещала за эту жалкую голову тридцать тысяч золотых рублей, теперь она не стоила и ломаного гроша.

Палач, держа в правой руке окровавленный топор, левой же высоко подняв голову Емельки, с той же гордостью сделал еще несколько кругов по эшафоту, стекающая с головы кровь обагрила его ладонь. Наконец, палач положил отрубленную голову на плаху, теперь сочившаяся из горла кровь уже проливалась на пол эшафота. В этот момент второй палач, тоже, видимо, желая продемонстрировать свою значимость, схватил за волосы голову Емельки и, подняв брошенную в угол пику, воткнул её в рыхлое горло казнённого и, подняв, словно знамя, стал крутить над собой.

Но желание толпы увидеть отрезанную голову сменилось яростным недовольством: женщины и мужчины, старики и юноши стали освистывать палачей, ругая их самым отборным матом, ибо по приговору палачи поначалу должны были отрубить руки и ноги Пугачёва, и только после этого отделить топором голову от тела. Не увидев расчленение живого Пугачёва, толпа пришла в неистовство:

– Палачам всучили взятку!..

– Палачи – воры!..

– Палачи получили взятку!..

И только после того как палачи, подтянув труп Пугачёва к плахе, усердно и добросовестно разрубили его останки на четыре части, по толпе прошёл гул удовлетворения.

Казнь Пугачёва была победой дворянства, она должна была стать его праздником, торжеством, но отчего на Болотной площади происходило нечто противоположное? Отчего казнь люмпена Емельки превратилась в праздник самих люмпенов?

Палач крутил над своей головой нанизанную на железную пику голову Емельки Пугачёва, и Павлу Цицианову казалось, что капли крови, всё ещё стекающие с горла казнённого, сейчас брызнут и на него – на его глаза, щёки, губы, и юный офицер, которого мутило и по телу бежали мурашки, более не стал дожидаться казни Перфильева, воля Всевышнего и указ августейшей императрицы и об этом мерзавце, конечно же, будут выполнены – повернувшись, стремительно расталкивая людей, князь наконец смог выбраться из зловонной толпы.

По мере того как он скорыми шагами отдалялся от толпы, воздух очищался, стали улетучиваться тошнотворные запахи корчмы – сивухи, вина, чеснока, дешёвой колбасы, и в это время неожиданно Павлу Цицианову вспомнились увлекательные и пугающие рассказы Бабуа Арчила, и как прежде в том далёком детстве, перед его глазами встали две бледные, глядящие друг на друга головы – женщины и мужчины. Эти головы были рядом, в большой заспиртованной колбе, сам он их не видел, но зримо представлял, они страшили, приводили в трепетный ужас его детское воображение. Именно тогда, в первый и последний раз, Елизавета Михайловна – мать Павла – пожурила Бабуа Арчила:

– Дядя Арчил, прошу вас, не рассказывайте при ребёнке подобные страшилки.

Но всегда приветливый, улыбчивый Бабуа Арчил нисколько не обиделся на Елизавету Михайловну:

– Не беда, Лиза! Пусть уже сейчас познаёт жизнь, – сказал он. – Пусть знает, что может происходить на свете!

Полвека назад, в 1725 году – в то время хозяйкой трона Российской империи была Екатерина I – дед Павла, грузинский князь Паата Цицианов вместе с Вахтангом VI покинул Тифлис, отправился в изгнание в Россию. В то время друг детства Пааты – Арчил был одним из тех, что сопровождал их, после переезда в Россию Паата Цицианов стал Павлом Цициановым, был принят на военную службу и погиб вблизи Вильманстрада, во время русско-шведской войны. Но и после гибели друга Бабуа Арчил оставался самым близким, доверенным человеком семьи Цициановых. Арчил не был женат, жил один, но поговаривали, что в своё время он пользовался известной благосклонностью московских прелестниц, и по тем же самым пересудам, среди детей тех ныне постаревших московских красавиц было немало смуглых отпрысков и самого Бабуа.

Лишь Бабуа Арчил называл Павла грузинским именем Паата, и с детских лет говорил ему:

– Тебя называли в честь деда. Поэтому ты не Павел, а Паата. И меня называй дед – Бабуа Арчил.

По тогдашней дворянской традиции, Павел с семи лет был записан на военную службу и уже являлся капралом знаменитого Преображенского полка.

С явной любовью и гордостью в глазах, глядя на маленького капрала, Бабуа Арчил говорил:

– Я знаю, Паата, ты станешь большим генералом! Тогда я забудусь тебе, но не беда, я стану глядеть на тебя оттуда – сверху.

Столь убеждённые слова Бабуа Арчила: «Ты станешь большим генералом» наполняли душу семи-восьмилетнего Павла гордостью, он уже мнил себя настоящим генералом, но одновременно удивлённо рассматривал потолок их московского дома.

– Сверху? – указывал он пальцем на потолок. – Отсюда?

– Нет, – смеялся Бабуа. – С неба. В то время я буду на небе.

Беседы Бабуа Арчила были куда более запоминающиеся и интересные, нежели прочитанные маленьким Павлом книги, они вели его в таинственный мир, и в том таинственном мире оживали пересказанные Бабуа Арчилом события. Дед Арчил и вправду словно находился на небе, среди звёзд и планет, Павел и сам входил в калейдоскоп происшествий того таинственного мира, становился их участником, порой тот таинственный, загадочный мир превращался в мир устрашающий.

И история, рассказанная в тот день Бабуа Арчилом, была событием того пугающего мира, и несколько ночей Павел со страха и ужаса от услышанного не мог сомкнуть глаз. Ему даже хотелось вскочить с постели, побежать в спальню своей гувернантки, мадам Женон, обняв её, заплакать, но этого он не мог себе позволить – генерал не должен ничего бояться! – заставляя себя оставаться наедине с этим устрашающим миром.

В тот самый день, когда Елизавета Михайловна в первый и последний раз одёрнула Бабуа Арчила, он, попивая чай, густо заваренный в знак к нему особого расположения, рассказывал:

– Знаете, в Петербурге в кунсткамере, в колбе содержатся две головы. Одна из них принадлежит мужчине, другая – женщине. Они оба были преступниками, им обоим отрубили головы. Эти головы хранятся в заспиртованной колбе, чтобы грядущие поколения знали, какие в России встречались преступники, так как в будущем на свете не станет преступников. Их глаза в колбе раскрыты, они глядят друг на друга, рассказывают, что по ночам в темноте слышны их голоса, они переговариваются меж

собой.

Бабуа Арчил, рассказывая все это, покручивая кончики всегдашних длинных усов, смеялся, и этот его смех казался Павлу столь же ужасным, как и сам рассказ – как можно смеяться над подобным?

Эти две головы, хранившиеся в заспиртованной колбе, ввергли Павла в такое волнение, даже истерику, что ему словно стали доноситься голоса переговаривающихся голов, Павел никоим образом не хотел слышать их слов, ему казалось, что их речи страшней отрубленных голов.

И только после того как стал 13-14-летним подростком, Павел узнал, что рассказ Бабуа Арчила совсем не миф, не выдумка, на самом деле, в кунсткамере Российской Академии наук, в заспиртованной колбе хранятся две головы – одна из них принадлежит брату Анны Монс¹ – Виллиму Монсу – по слухам, одному из фаворитов Екатерины I, казнённому за взяточничество, вторая Марии Гамильтон – камер-фрейлины той же Екатерины I, которая также, по слухам, была возлюбленной Петра Первого, и обезглавлена за то, что задушила своего незаконнорождённого ребёнка.

А однажды, придя к ним, всегда улыбчивый, не оставляющий своих солёных шуток, дед Арчил в тот день, как никогда прежде, был предельно серьёзен.

– Паата, – сказал он, – повторяй: «Хмерти».

– Что? – спросил Павел.

– «Хмерти!»

– Что означает это слово?

– Ты повторяй: Хмерти!

Павел повторил: – Хмерти.

Бабуа Арчил, как и мадам Тереза – преподавательница музыки Павла, внимательно слушал его.

– Скажи еще раз: Хмерти!

– Хмерти! – сказал Павел.

– Произноси внятней! Хмерти!

На сей раз Павел громко, как говорится, от души, выпалил:

– Хмерти!

– Вот так! – одобрительно кивнул Бабуа Арчил. – Помни, Паата, «Хмерти» на грузинском означает «Создатель», «Бог». Ты должен произносить имя Создателя так, как его произносили твои предки. Слышишь, Паата, «Хмерти!»

Но слово «Хмерти» совсем не нравилось маленькому Павлу, оно было не только чуждо, даже казалось смешным – то есть, как это «Хмерти?» – и через какое-то время мальчик совершенно забыл это слово.

Дед Арчил был единственным человеком, посещавшим их дом, что говорил на русском языке с грузинским акцентом, он рассказывал о Тифлисе, его базарах, о кинто, о замечательных харчевнях квартала Шайтан-базар, где проживали азербайджанцы, исполнявшейся в них прекрасной музыке, о реке Куре, перерезающей Тифлис, о горах и садах Грузии, и эти беседы сообщали семье Цициановых о теперь уже совсем далёком и столь же сказочном мире.

Бабуа Арчил рассказывал, что одно из самых вкусных блюд в Тифлисе называется «Келле-пача» и готовили его именно на Шайтан-базаре. «Келле» – означало голову овцы, «пача» – конечности. Посещавшие Тифлис иностранцы – русские, англичане, французы – досыта наедались этого блюда, затем, выпив холодной воды,

¹ Немка по происхождению Анна Монс более десяти лет была возлюбленной Петра I.

страдали поносом.

Рассказывая всё это, Бабуа Арчил заливался в смехе, но перед глазами впечатлительного Павла возникала окровавленная голова зарезанной овцы, и его охватывало удивление: как можно есть эту окровавленную голову, и разве можно смеяться, как Бабуа, рассказывая это?

В тот холодный зимний день 10 января 1775 года, удаляясь быстрыми шагами от Лобного места, молодой офицер Павел Цицианов думал о том, что для человека без разницы, голова ли это человеческого существа или овцы, но в тот же миг эта примитивная мысль не понравилась ему самому: Пугачёв не был человеком, он совершил предательство по отношению к государству, её величеству, и именно так должна была быть отрублена голова Емельки, воткнута на пику, более того, эта голова была достойна большей пытки. Павел поразился своей жестокости, но по мере того как он шагал, утопая в снегу, это чувство поражённости прошло, растаяло, словно это был не зимний, а жаркий летний день..

Позже Павел Цицианов узнал, что Екатерина Великая, как всегда, проявила человеколюбие, втайне приказала, чтобы прежде были отрублены головы Емельки Пугачёва и разбойника Афанасия Перфильева, и только потом четвертованы тела.

Об этом, после казни этих негодяев, рассказал своим приближённым московский губернатор – князь Михаил Никитич Волконский¹, и это признание тотчас, в течение дня разнеслось по всей Москве.

Услышав это, Бабуа Арчил сказал:

– Волконский – человек осторожный...И эту информацию он распространяет по поручению самой Екатерины... Пусть все видят, насколько её величество – человек мягкосердечный...

Семья Цициановых, и в первую очередь молодой офицер Павел, не любила подобных крамольных разговоров, которые порой вел Бабуа Арчил, но тот не обращал на это внимания, говорил первое, что приходило на ум.

– Ну и дела творятся на свете! Михаил Никитич – один из тех, кто отправил на тот свет и настоящего Петра Третьего и лже-Петра, – это тоже говорил в то время Бабуа Арчил.

Четвертованное без головы тело Пугачёва возили по всем улицам города, а голове, теперь уже водруженную не на пику палача, а на кол, тоже несколько дней таскали по городу, а затем, собрав вместе останки, сожгли, развеяв пепел над Москвой-рекой.

Одиннадцатого марта всё того же 1775 года императрица подписала особый манифест: предательство Пугачёва «должно навечно быть стёрто с памяти и никогда не упоминаться». Пугачёв был арестован в хуторе Яицкого городка, на берегу реки Яик, и чтобы навсегда предать забвению эти названия, она приказала переименовать городок в Уральск, а реку – в Урал.

Всякий раз, когда Бабуа Арчила спрашивали о возрасте, он отвечал «семьдесят девять», словно боялся перехода в восьмидесятилетие, и через четыре месяца после казни разбойника Емельки, в середине мая, в один из редких погожих солнечных московских дней, сидя в кресле у окна своего дома, глядя на улицу, он спокойно испустил дух.

Дом, в котором проживал Бабуа Арчил, был по соседству с Цициановыми, и как

¹ Князь М.Н.Волконский – один из организаторов дворцового переворота, убийства Петра III, в результате чего императрицей была объявлена Екатерина II.

только Елизавета Михайловна и Павел услышали эту горестную весть, они тотчас поспешили к нему и обнаружили деда, сидящего в кресле у окна. Павлу подумалось, что Бабуа Арчил в эти последние свои мгновения глядел не на московскую улицу, а на горы Кавказа.

* * *

... Поначалу ЕМУ показалось, что одетый в форму курсанта, в том видимом измерении, это сам Элизбар Эристов – юношеские годы подполковника.

Позже ОН понял, что этот юноша – молодой курсант – не подполковник, а его сын.

А та красивая блондинка, ещё не растерявшая свежести молодости – вдова подполковника Эристова и мать того юноши.

Анна, обхватив руками локти сына, срывающимся от волнения голосом говорила: «Дай слово!.. Дай мне слово, что ты никогда не отправишься на Кавказ! Дай мне слово! Поклянись, что твоя нога никогда не ступит на землю Кавказа!.. Поклянись!..»

5

9 февраля 1806 года по христианскому и 20 зульгада 1220 года по магометанскому летоисчислению, в безветренный, безвьюжный, спокойный, но режущий, будто кинжал, морозный вечер, крупные хлопья снега накрыли белым полотном лагерь, разбитый Аббасом Мирзой в степи Харамы, на северном берегу Аракса. Ядрёный вечерний мороз и окутавшая всё вокруг белизна словно говорили об изначальном спокойствии, вековечной безопасности степи Харамы, и, конечно же, никому стороннему и в голову не могло прийти, что в еле различавшихся друг от друга армейских шатрах в этой белизне писалась будущая судьба сотен и сотен людей – русских, персов, азербайджанцев, грузин, лезгин, аварцев, кумыков, ведущих войну не на жизнь, а на смерть на Южном Кавказе: кто-то будет убит, кто-то уцелеет в шаге от пропасти, кто-то на всю жизнь останется калекой, кто-то на пороге смерти станет проклинать русских солдат, а кто-то – сарбазов Каджаров, кто-то в тот последний миг своей жизни, истекая кровью, обрушит проклятия на Александра I, а кто-то – с той же ненавистью – на Фатали-шаха.

Аббас Мирза в своём шатре, устланном коврами, паласами, заткнута кое-где кошмой, чтобы не проникала стужа, обсуждал со своими приближёнными то, что русский Наместник – генерал Цицианов двинул свои войска на Баку, и Наследник¹ насколько не сомневался, что русские легко подчинят себе Бакинское ханство. У Гусейнгулу-хана не было ни серьезных сил, ни достаточного, как у покойного Джавад-хана, мужества, и Аббас Мирза был совершенно убеждён, что после того, как уплывет и Бакинское ханство, выбить русские войска из Северного Азербайджана станет делом сверхсложным.

А дела и вправду складывались непросто: Англия и Франция воевали друг с другом, обе противоборствующие стороны старались перетянуть на свою сторону

¹ Фатали-шах Каджар официально назначил своего сына Аббаса Мирзу наследником.

Баба-хана, обещали оружие и снаряжение, на деле ничем существенным не помогли, присланное несколько лет назад оружие куда-то исчезло, устарело или было выведено из строя, и Аббас Мирза понимал, что теперь, когда Бонапарт превратил Европу в пороховой склад, ни от англичан, ни от французов серьезной помощи, чтобы сражаться с русскими, не дожждаться.

Разумеется, и англичане, и Бонапарт хотели руками Баба-хана ослабить Россию, пресечь активность России на южном направлении – это было яснее ясного, но Баба-хан, вне зависимости от желаний англичан и французов, также был вынужден противостоять России, ибо её южные амбиции касались, угрожали непосредственно интересам Каджаров, и подобно тому, как Европа хотела привлечь Каджаров к противостоянию с Россией, так и Фатали-шах, и Наследник хотели использовать европейцев в этом противостоянии, но в результате Цицианов вслед за Грузией покорил самые большие и авторитетные ханства Азербайджана – Карабах и Гянджу, ушло и Ширванское ханство, и было ясно как божий день, что не сегодня-завтра падёт и Бакинское ханство.

И в это время в шатёр ворвался евнух Абдул Рахман, не обращая ни на кого внимания, энергичными шагами, так не соответствующими его рыхлому, мясистому телу, подскочил к Аббасу Мирзе. Подобной прерогативой – врваться без доклада к Фатали-шаху и Наследнику и что-то нашёптывать им – обладал только скопец, и на сей раз он, приблизив свои толстые губы к уху принца, что-то торопливо прошептал ему.

По тому как мгновенно изменился в лице Аббас Мирза, приближённые поняли, что произошло нечто сверхважное, Аббас Мирза, какое-то время глядя в зелёно-жёлтые, напоминающие кошачьи, глаза евнуха Абдул Рахмана, молчал, затем, переведя взгляд на собравшихся, сам положил конец этой напряжённой тревоге:

– Вчера утром Гусейнгулу-хан... – Аббас Мирза на мгновение умолк, будто сам не верил словам, что сейчас произнесёт... – организовал покушение на прибывшего на встречу с ним Цицианова... – затем, помолчав еще какое-то время, произнёс: – Слава Аллаху! – и снова, после напряжённого молчания, добавил: – Но надо поглядеть, чем всё это кончится?!

И тут же Аббасу Мирзе подумалось, что Гусейнгулу-хан изначально был человеком двуличным и нечестным: то лебезил перед Баба-ханом, то заигрывал с Наместником, но что удивляться: честь и политика никак не сопрягаются друг с другом, это Аббас Мирза осознал с тех самых юных подростковых лет, когда стал видеть себя после отца мужественным – да, мужественным! – полководцем и справедливым шахиншахом.

6

Небесный свод был полон ярко сияющих звёзд, и в ту морозную февральскую ночь 1806 года подобное предрассветное, усеянное звёздами небо было в этих местах весьма редким явлением.

Группа сопровождения вместе с немым – Лал Гафароглу ехала впереди, а Молла Музаффар и Махмуд-бек – чуть поодаль, уставшие за ночь кони иногда останавливались, оглядывались по сторонам, словно проверяя, много ли осталось до конца пути.

Гусейнгулу-хан, чьи нервы после вчерашнего тяжёлого заседания дивана были

на пределе, хотел было поручить отрезать голову Цицианова самому Махмуд-беку, но у него не повернулся язык, и как только завершилось заседание, тотчас удалился в свои покои, и в отличие от всегдашнего, заперевшись, остался один. Заправленная нефтью¹ лампа в опочивальне горела до утра, и чем там занимался Гусейнгулу-хан, было известно только Аллаху и ему самому, но утром, когда он вышел из комнаты, это был будто совсем иной человек – кроткий, приветливый, улыбчивый, он внезапно изменил своё решение, счёл, что не стоит превращать племянника – Махмуд-бека – в мясника, не доверяя никому другому, поручил отрезать голову Наместника Лал Гафароглу.

Известный бакинский мясник Баларза вместе со своим подмастерьем, толкая впереди себя большую колоду для рубки мяса, выкатили её с самого базара до Двойных крепостных ворот, а охранники приволокли по земле труп Цицианова и подтянули его головой к колоде. Мясник Баларза, всю жизнь занимавшийся тем, что разделывал туши рогатого скота и овец, вместе со своим подмастерьем стоял в стороне, увидев, что его ученик с напряжённым интересом смотрит в сторону колоды, крикнул:

– Эй ты, отвернись, не гляди туда! – и вместе с оставшимся недовольным подмастерьем отвернулся и сам, чтобы не видеть, как отрубают человеческую голову: Наместник был гяуром, или еще кем-то, но как-никак – человек.

Лал Гафароглу схватил Наместника за волосы так, чтобы выпрямилась шея, и, подняв секач, что держал в правой руке, одним ударом отсёк голову князя Цицианова от тела.

Голову Наместника забросили в мешок, а останки, схватив за ноги, поволокли и погрузили в запряжённую двумя волами арбу, и после того, как арба тронулась, Баларза схватил своего подмастерья за локоть.

– Ты куда? – спросил он, видя, что тот хочет двинуться в сторону колоды.

– Надо же забрать колоду.

– Куда забрать? – сказал Баларза с явным огорчением. – Разве стану я теперь разделывать на ней мясо и продавать людям?

И крупный, толстый мясник Баларза, чуть покачиваясь из стороны в сторону, стал удаляться от Двойных крепостных ворот. Ученик поплёлся за ним, как ягнёнок за овцой.

Баларза лишь один раз придержал шаг, глянул назад, на колоду, не один год служившую ему, и сказал, будто сам себе:

– Жаль её! Отличная была колода! Пропала!..

Через много-много лет, доживший до девяностолетия тот самый подмастерье иногда вспоминал зимнее утро, когда у крепостных ворот была отрезана голова Цицианова, и слова огорчённого мясника Баларзы: «Жаль её!.. Отличная была колода, пропала!..»

А колода так и осталась лежать у крепостных ворот, пока в один из зимних дней откуда-то прилетела чёрная ворона и, сев на нее, не стала расклёвывать сгустившуюся, стёкшую с шеи на колоду кровь князя Цицианова...

...Махмуд-бек в сопровождении своего небольшого, в четырнадцать человек отряда из особо доверенных, удалых всадников в тот же вечер, не теряя времени, вместе с Моллой Музаффаром и Лал Гафароглу отправился в путь в Тегеран.

До Сальян оставалось совсем немного; кони Моллы Музаффара и Махмуд-бека

¹ Примечание: На территории Азербайджана с древнейших времен добывали так называемую белую (лёгкую) нефть, не нуждающуюся в перегонке, используемую как топливо и осветительный материал.)

шли рядом.

Всю дорогу Молла Музаффар часто закрывал глаза, моля в душе Аллаха, чтобы тот простил ему его грех, но, открывая глаза, он снова непроизвольно глядел на мешок, притороченный к седлу коня Махмуд-бека, и ему казалось, что он сам отрубил ту Голову, что покачивалась в мешке. Эта мысль, это чувство пронзали, заставляли содрогаться Моллу Музаффара, который за всю свою жизнь не отрезал голову даже курице, он смежал веки, сжимал оставшиеся здоровыми зубы и снова принимался за молитву, хотя уже уверовал, что его мольба не будет услышана, но другого пути не было: Молла Музаффар считал себя истинно верующим человеком и продолжал молить о прощении.

У него не было ни крохи сомнения, что хозяин этой Головы сейчас пребывает в аду – «Аллах – тот, кто быстро сводит счёты»¹ – учит Коран, но эта убеждённость несколько не уменьшала охватившее его всего чувство вины, и с того момента, когда он предложил отрезать голову русского Наместника, это чувство не покидало его. Ни горесть чувства вины, ни холод предрассветного зимнего утра, сковавший его тело, не действовали на Моллу Музаффара: он не ощущал стужи, только слезились глаза, и всякий раз, когда, прикрыв веки, он молил Аллаха о прощении, по его щекам стекали две слезинки, и Музаффару казалось, что эти слёзы не от мороза, а от чувства совершённого греха.

На том диване, куда он был приглашен самим Гусейнгулу-ханом, Музаффар видел в создавшемся для Баку тяжёлом положении единственный выход в том, что предложил: отрезать голову Наместника и отправить её Фатали-шаху, быть может, сердца одного из этих чудовищ – русских или Каджаров – хоть немного остынут, и один из них, пусть временно, станет относиться к Бакинскому ханству дружелюбней. Не забота о ханстве или каком-то служении династии и даже личности бакинского хана руководили Моллой Музаффаром, речь шла о чёрных тучах, нависших над Баку, о судьбе жителей Абшерона. Но предложение отрезать, отделить голову от тела и таким образом предать земле это безголовое тело человека, ушедшего в мир справедливости и там держащего ответ пред Всевышним за свои деяния, тоже было греховно и никак не красило Моллу Музаффара.

Молла Музаффар всегда высоко ценил «Тагву», вобравшую в себя основные заповеди, нравственные ценности, постулаты Священного Корана, и уже с самой юности избегал поступков, что могли разгневать Создателя, и, конечно же, очень страдал от того, что такой человек, как он, мог предложить подобное. Молла Музаффар был уверен и в том, что Всевышний никак не сможет простить грех его лютого предложения, смешно думать, советовать предать земле безголовое тело и надеяться, что Всевышний закроет на это глаза? Молла Музаффар был полностью убеждён, что предложив подобное, он сбился с предначертанного Аллахом пути, и его охватывал озноб – не от стужи Муганской степи, по которой они неслись на конях в это зимнее утро, а именно от этой мысли.

Убеждённый, что не будет прощён, Молла Музаффар продолжал тем не менее молить Аллаха о прощении.

Молла Музаффар уже перешагнул семидесятипятилетний рубеж и, считающий неподобающим жить более шестидесяти трёх лет, отпущенных и самому Пророку, был личностью известной не только в Бакинском, но и в соседних Кубинском и Ширванском ханствах, воспринимался людьми как истинно праведный человек в Ленко-

¹ 4-й стих суры «Аль-Маида» (Скатерть) Корана.

ранском, Карабахском, Гянджинском и Шекинском ханствах, и бывало, даже заносчивые отпрыски ханских династий, что бахвалились: «Я не ем плова, боясь измазать усы в масле!», то есть «не размениваюсь на пустяшное!», не считали для себя зорным прибыть перед свадьбой в Баку, чтобы именно Молла Музаффар заключил их брачный договор, и даже участие, по приглашению именитых беков, подобно Гаджи Мухтару, в случавшихся траурных церемониях, ведение им этих печальных церемоний, приносили убитым горем родным усопших не только утешение, но и дополнительную славу и честь.

Конечно, Музаффар всей душой верил в единоначалие Аллаха, и в то же время, проведя всю свою жизнь в молитвах, плотью и кровью был связан с Абшероном, в земле которого покоились его предки, в его сознании служение авторитетом и советами Бакинскому ханству было богоугодным делом, это радовало дух и память ушедших, чей кости слились с землёй Абшерона. И у него было такое ощущение, что он нёс на своих плечах в последний путь всех усопших за долгие века на земле Абшерона. И в эти далеко не простые времена безопасность и благополучие бакинцев для Моллы Музаффара были важнее всего, и не было дня, чтобы он не молился и не творил намаз, прося у Всевышнего заступничества.

Молла открыл глаза и, подняв голову, глянул на небо: на фоне подобной отдалённости звёзд друг от друга, которых было не счесть, перед лицом такого величия Вселенной, неожиданно прегрешение одного человека показалось ему совершенной малостью, и в тот же миг он подумал, что могущество Всевышнего, создавшего всё – от муравья до бесконечной Вселенной, настолько бесконечно, что позволяет воздать каждому за его деяния.

Аллах – всемогущ, и если не дал бы согласия, то он – Молла Музаффар никогда бы не озвучил свое предложение – Молла вздрогнул от этой мысли: с одной стороны – ты молишь Аллаха, с другой – оправдываешь себя, значит ты – Молла Музаффар – в числе тех, кто, совершив дурное, хочет призвать в союзники самого Создателя? Ты совершил такой грех, которому нет отпущения, изначально это такое падение, что чёрной чертой перечёркивает все твои прежние благодеяния, поэтому ты и не жди от Аллаха прощения.

И в этот миг Молле Музаффару почудилось, что кто-то глядит на них, кто-то следит за ними, это Молла ощутил почти физически, он даже выпрямился в седле, огляделся: в такое время можно ожидать всего, чего угодно – предательство, продажность, алчность, словно затаившись, поджидали их, и как только пробил час, вышли наружу из засады, и Молла Музаффар иногда подумывал, что нынешнее время – именно то, когда Всемогущий подвергает испытанию своих слуг.

Несмотря на годы, Молла Музаффар в общем-то был человеком здоровым, Аллах сохранил ему ту остроту зрения, что была и пятьдесят лет назад, и Музаффар внимательно огляделся вокруг: в эту звёздно-лунную ночь в Муганской степи, которой, казалось, никогда не будет конца, кроме них не было ни единой живой души, но беспокойство не отпускало, он почти кожей ощущал на себе какие-то чужие взгляды – на сей раз ему показалось, что кто-то глядит на них сверху, и Музаффар, подняв голову, снова вгляделся в небо. В эту звёздно-лунную, тихую зимнюю ночь свод неба был чист – без единого облачка, кто, как не Аллах, в этой ясности и чистоте мог зреть с неба?

Прошло ещё какое-то время, и Молле Музаффару показалось, что и кони, что-то почувствовав, встревожились – наострили уши, фыркали, перекатывали удила

во рту, и он посмотрел на мешок, притороченный к седлу коня едущего рядом Махмуд-бека. Голова русского Наместника, известного своей жестокостью и деспотичностью всему Азербайджану, могла сорваться с седла, стать в этой чужой Муганской степи, вдали от родной обители, пищей для птиц и зверей – всякой живности, и ввергло её в нынешнее состояние не предложение Моллы Музаффара, а воля Аллаха. «Что с тобой, Молла? Прости меня, Господи! – и сейчас ты снова перекалываешь свою вину на Всевышнего?» Испугавшись собственных мыслей, он повторно прошептал: «Прости меня, Господи!».

Хозяин Головы сейчас горит в огненной геенне – в этом не могло быть сомнения, это результат его злодеяний, оставив свой дом, свой очаг, свой кров, ты являешься, проливаешь кровь на земле другого, осыпаешь снарядами города и сёла, лишаешь людей – слабых и сирых – куска хлеба, и не в ответе за содеянное? – это же невозможно, ведь есть на небе НЕКТО, кто видит и оценивает всё – мир покоится не на произволе.

Кони шли рысью, и Молла Музаффар, поглядывая на тот мешок, пронесил все эти мысли через себя, но в то же время и беспокойство не оставляло его – какие-то взгляды сопровождали их, и это беспокойство не исчезало, Молла никак не мог подавить в себе это чувство: словно они ехали, преследуемые чьими-то незримыми взглядами.

И вдруг, совершенно неожиданно, его охватило страстное желание: ему захотелось услышать пение азана¹ служителем, обладающим очистительным голосом, далеким от всякой греховности, будто весь он, Молла Музаффар, погружён в какие-то нечистоты, а этот азан смоет, очистит его.

Ещё не рассвело, на сей раз Молла Музаффар посмотрел не на мешок, притороченный к седлу коня Махмуд-бека, а на него самого. Молчавший всю дорогу Махмуд-бек, наконец, тоже отведя взгляд от какой-то далёкой неведомой точки, посмотрел на Моллу Музаффара.

– Не устали? – уважительно спросил он.

– Нет, не беспокойся, бек, – откликнулся Молла Музаффар.

– Вам не холодно? – снова задал вопрос Махмуд-бек.

– Нет, всё в порядке, – ответил Молла Музаффар и, наверное, чтобы избавиться от докучливых мыслей, спросил: – А как ты?

Казалось, всё существо Махмуд-бека было переполнено, и этот вопрос позволил ему выплеснуть всё, что было у него на душе:

– Дал бы Аллах мне такой меч, чтоб я одним ударом расправился со всеми – русскими, французами, англичанами в Европе и иными на свете. Да и с персами!.. С арабами!.. И эфиопами!..

Молле Музаффару были известны убеждения и бескомпромиссность этого молодого человека, но несмотря на это, он непроизвольно поднял голову, глянул на небо, перед величием Вселенной, ярко освещенной мириадами звёзд в этот холодный предраассветный час, слова Махмуд-бека показались ему намного более незрелыми и пустыми, чем прежде.

Скривив слезящиеся от холода глаза на Махмуд-бека, он сказал:

– Значит, ты хочешь предать мечу всех людей на свете, чтобы на земле остались одни турки?

– Да! – с той же бесшабашностью выпалил Махмуд-бек и повторил: – Да, ува-

¹ Азан – призыв служителя с минарета мечети к богослужению, намазу.)

жаемый, да! Ибо весь мир – враги нам!

Слабая улыбка скользнула по лицу Моллы Музаффара, и он спросил:

– Но разве сами тюрки дружны меж собой? Когда ты предашь мечу всю массу людей на земле, разве тюрки больше не станут уничтожать друг друга?

Махмуд-бек посмотрел на своего спутника и, ничего не ответив, отвел от него взгляд.

После этого они ещё какое-то время молча ехали рысью, молчание нарушил сам Молла Музаффар:

– Аллах никогда не вручит тебе подобный меч, Махмуд-бек. Всех, кого ты хочешь изничтожить, сам Всевышний обратил в себе подобных. И у тебя нет таких полномочий, чтобы стереть их с лица земли. Эти рассуждения – большой грех, сын мой... Святой Имам Али ибн Абуталиб говорил: «Значимость человека равна его прекрасным деяниям. Пролитая кровь, ты ничего не добьешься, только будешь посрамлён...» – и Молла Музаффар произнёс один из стихов Священного Корана, который знал наизусть: «Тот, кто безгрешен, будет храним милосердием Аллаха и навсегда останется в раю!»

Махмуд-бек снова ничего не ответил, казалось, он даже не слышал, что говорил Музаффар, сказанные моллой прежде слова: «а что, тюрки больше не станут уничтожать друг друга?», застряли у него в мозгу, бились в висках, застилали пеленой глаза.

Почти достигший тридцатилетия Махмуд-бек посвятил свою жизнь изучению истории тюрков, стремился всем существом следовать её назидательным урокам. На Абшероне и стар, и млад придерживались убеждения, что Гусейнгулу-хан посадит после себя на трон не собственного сына, а племянника, что славился мужеством и отвагой, был с народом в радости и беде, но сам Махмуд-бек не только не мечтал о заветном для иных ханском престоле, больше того, даже не помышлял об этом, так как для него, в первую очередь, не было иной цели, чем создание общего тюркского государства, единение двух тюркских колен – Османов и Каджаров, прекращение их нескончаемой вражды, больших и малых войн.

Ирония Моллы Музаффара, едущего рядом в этот предрассветный холодный зимний день, попала точно в цель: «Чья была кровь, что лилась с двух сторон во время сражения при Чалдыране?»¹ Тюрки! А кто при этом выгадал – Европа! Османов при Чалдыране нанесли поражение Шаху Исмаилу, а на деле только ослабили самих себя. Те триста орудий Султана Селима, что были нацелены при Чалдыране на Сефевидов, могли разнести всю Европу. Тюрки добрались до самой Вены, и если после сражения с Сефевидами при Чалдыране они не отвели бы свои войска из пуповины Европы, сейчас история писалась бы совершенно иначе, вся Европа оказалась бы в руках тюрков, и сейчас не было бы места ни английскому коварству, ни французской пронырливости. И посмела бы после этого русская императрица Екатерина прибрать и присоединить к себе Крым? Или же отнять у Султана Селима весь северный берег Чёрного моря и выйти к предгорьям Кавказа? Европейские короны спасли не европейцы, а Сефевиды. Разве хан Тохтамыш не был тюрком? Захватил, сжёг дотла Москву², а что предпринял позже? Вместо того, чтобы уничтожив, стереть русских с лица земли, ввязался в войну с таким же, как он сам, тюрком Амиром Тимуром. Но

¹ Имеется в виду знаменитое сражение между империями Османов и Сефевидов 23 августа 1514 года на Чалдыранском поле близ города Маки.

² Правитель Золотой Орды хан Тохтамыш в 1382 году захватил и сжёг дотла Москву, затем во время сражения под Тереком с Тимуром в 1395 году потерпел поражение. Тем самым начался упадок Золотой Орды.

разве это единственная чёрная страница в истории тюрков? Поэтому ныне ситуация и приняла такой оборот. Османы вынуждены, боясь потерять оставшиеся земли, приняться за реформы, если и остальные земли будут потеряны, то вчерашние подданные превратят тюрков в свою прислугу.

Каджары надеются получить от Европы оружие и снаряжение, иначе судьба их династии завершится господством русских, и Махмуд-бек ещё раз подумал, что всё это – результат того, что тюрки разобщены, отчуждены, сражаются друг с другом.

Три года тому назад Махмуд-бек вместе с несколькими молодыми людьми, которых считал идейными друзьями, отправился в Стамбул – он хотел разъяснить ситуацию, призвать османских тюрков к единству, мечтал, чтобы Османы возглавили это единение, ждал помощи от них, чтобы защитить Азербайджан от русских, но Султан Селим даже не принял его. Но чего было ждать, если Султан не чистый тюркок, если его мать – дочь европейского гяура¹? Тюркок должен быть чистокровным, иначе он не станет служить тюркам. Речь идёт о великом служении, о могущественном тюркском государстве, таком государстве, где все остальные народы – русские, англичане, французы, персы, арабы, эфиопы – подчинялись бы тюркам.

Хотя, разве Амир Тимур не был чистым тюрком? Что он сотворил с Баязидом, даже добился, чтобы пленённого султана привезли к нему в железной клетке². А кем был сам Султан Баязид? Тюркок! Разве Узун Гасан, заключивший союз с Венецией³, не был настоящим тюрком? Борясь с османами, воспользовался помощью Иоанна⁴, даже женился на его дочери. А тюркок Мираншах и казнивший его сына Гара Юсиф⁵? А кем были Ибрагим и Сеид Ахмед⁶, вступившие в союз с царём Константином, против того же Гара Юсифа? Настоящие тюрки!

Надир-шах пошёл войной на Азербайджан, сжёг дотла такой райский уголок, как Шеки, а всё потому, что Гаджи Челеби⁷ не подчинился ему! Кем были Надир, Гаджи Челеби и все остальные? Чужаками или тюрками?!

Почему?

Отчего тюрки изничтожали друг друга?

Махмуд-бек снова отвёл глаза от какой-то далёкой неведомой точки, посмотрел на Моллу Музаффар:

– Уважаемый, прошу простить меня, чуть раньше вы напомнили, что тюрки сами уничтожают друг друга. Разве Аллах сотворил тюрков врагами друг другу?

– Конечно же, нет, – сказал Молла Музаффар. – Аллах – справедлив, он нака-

¹ Родина матери Султана Селима – Валиды Султан Мехришах – Генуэзская республика, её настоящее имя – Агнеш.

² В 1402 году Тимур, одержав победу в войне против Османской империи, захватил в плен Султана Баязида.

³ В 1472 году в войне с османами правители династии Аккоюнлу заключили союз с Венецианской республикой.

⁴ Правитель государства Аккоюнлу Узун Гасан в войне с Султаном Мехметом Покорителем заключил союз с греческим императором Трабзона Иоанном Комнином и женился на его дочери Феодоре Деспине Хатун. Его дочь от Феодоры – Алемшах Бегим (Марта) была матерью Шаха Исмаила.

⁵ В 1406 году правитель государства Аккоюнлу Гара Юсиф нанёс поражение в войне Абубакру, сыну Мираншаха, назначенного Тимуром правителем Азербайджана. Абубакр был убит. В битве с Мираншахом через два года Гара Юсиф одержал победу, Мираншах также был убит.

⁶ Ширваншах Ибрагим I вместе с кахетинским царём Константином II и шекинским ханом Сеидом Ахмедом образовали союз против Гара Юсифа.

⁷ В 1744 году Надир-шах совершил поход на Азербайджан и Дагестан. Шекинский хан Гаджи Челеби оказал ему яростное сопротивление у горной крепости «Гелерсен-гёрьярсен» («Придешь-увидишь»). Какое-то время Надир-шах осаждал крепость, но так и не сумев захватить её, предал разорению город Шеки.

зывает тех, кто ступил на кривую дорожку. Аллах желает, чтоб его создания испытывали друг к другу любовь, были опорой друг другу.

Махмуд-бек внимательно слушал своего спутника, помолчал какое-то время, затем сказал:

– Значит, необходимо помочь Всевышнему!

Поначалу слова Махмуд-бека в этот холодный предрассветный час прозвучали богохульно, и священнослужитель вспомнил ещё одно изречение Священного Корана «...Мы создали вас (вашего праотца Адама) из земли, плоти, свернувшейся крови, затем принявшего определённый, целостный вид (рождённого вовремя) куска мяса (или рождённого раньше времени), чтобы явить своё могущество...»¹.

Что означает желание раба Божьего оказывать помощь обладателю такого могущества – не иначе как приравнять себя Всевышнему, как не стремление стать даже выше Его? И в это же время Молла подумал, что Всемогущий призывает рабов Божьих к истине, справедливости, милосердию, и если не все следуют этому завету, старание, желание направить их на путь истины не означает ли само по себе и помощь Создателю?

– Но только без кровопролития! – произнес Молла и после некоторого молчания добавил: – Пусть Аллах одарит мудростью твою веру, сынок!..

Ушедший далеко мыслями Махмуд-бек, казалось, даже не слышал слов спутника – его взгляд был устремлён вдаль, а сдвинутые на переносице брови, суровое выражение лица свидетельствовали о сотне преград, почти заставляющих впасть его в безумие изнуряющих мыслей и грез.

И Махмуд-бек вновь вспомнил свою поездку в Стамбул, когда он вместе со своими вроде бы идейными друзьями добрался до столицы, выяснилось, что для них, этих «друзей», было куда предпочтительней восхищаться танцем живота гречанок, арабов, эфиопок, армянок, потягивая кальян, попивая раки², тратить всё, что было в наличности, на этих девушек, нежели приведшие их в Стамбул бессмысленные и ложные идеи. Затем, оставив Махмуд-бека одного, они пропали – уйдя кто куда, и один Аллах ведаёт, где они ныне обитают, Стамбул засасывает подобных, вероятно, засосав уже, проглотил...

Внезапно – почему? – Молле Музаффару вспомнился Шариф-бек, в отличие от многих духовных лиц он относился к толмачу с уважением, считая его образованным, просвещённым человеком, и в это самое время, поразительно! – до его ушей в этой Муганской степи внезапно донёсся колокольный звон. Молла явственно слышал этот звон. Он содрогнулся – что это было? На что оно намекало? Что предвещало?

И Молла Музаффар снова непроизвольно посмотрел на мешок, притороченный к седлу коня Махмуд-бека, и всё ещё ощущая на себе те преследующие его безадресные взгляды, закрыл глаза, и то самое желание вновь подняло голову в его душе – быть может, впервые за всю свою долгую жизнь в этот день ему столь страстно захотелось услышать азан, призыв к молитве.

Молла снова стал про себя молить Аллаха – как никак, Аллах может слышать то, что у тебя на сердце, и Священный Коран призывает не сомневаться в милосердии Аллаха, и ты не теряй надежды, Музаффар...

А рассвет всё не наступал.

¹ Сура «Аль-Хасс» 5-й стих.

² Раки – турецкая водка.

* * *

...Скачущие по дороге всадники – это люди Гусейнгулу – Бакинского хана, и Он уже знал, что в том мешке ГОЛОВА, но это нисколько не сказывалось на ЕГО бесплотной, невесомой субстанции.

Память напомнила ЕМУ едущих впереди двух всадников – старого моллу, встретившего ЕГО хлебом-солью, чтобы преподнести ЕМУ ключи от Баку и молодого бека, стоявшего рядом с ханом у Двойных ворот крепости.

И в мешке, свисающем с седла коня молодого бека, покачивалась ГОЛОВА, и ОН был совершенно равнодушен к тому, что Голова – ЕГО Голова – отсечена от тела.

Но в ЕГО бесплотной и невесомой субстанции стало рождаться и понемногу расти такое чувство, что Голова не хочет отпускать ЕГО, Голова подавляет страсть и желание лететь навстречу силе, притягивающей ЕГО к самому СЕБЕ.

А тот другой, глупый молла, в этот момент глядел на звёзды, поражаясь, сколь много их на небе, и как необъятно мироздание.

Несчастный и невежественный человек, откуда тебе ведать, что такое много и что такое необъятное?

В том видимом измерении не существует чисел и слов, отражающих эту множественность, и никогда не будет существовать.

Какая бы мысль не проносилась в ЕГО бесплотной и невесомой субстанции, в каждой той мысли была абсолютная убеждённость.

В сравнении с этой множественностью, глупый, старый молла, то видимое измерение меньше даже разделённой на бесконечные числа крупинки абшеронского песка.

Однако откуда сам ОН получил эту информацию?

Что такое подобная бесконечность и подобная малость?

Когда это выяснится?

Но... в этой бесплотности и невесомости ведь не было времени.

7

«Для народов, проживающих в этой местности, единственная политика – сила».

Из письма князя П.Д.Цицианова
императору Александру I

Всё вокруг было черным-черно, и в этой темени разлилось ощущение какого-то движения, кто-то двигался в этой чёрной черноте – кто это был? что это было? – этого во сне князь различить не мог, только сознавал, что эта темень и ощущение каких-то шорохов происходят не наяву, он спит, видит сон. И вдруг блеск выхваченного из ножен кинжала в той непроглядности сна и проникновение этого кинжала в живот князя произошли одновременно: все ещё во сне, он почувствовал ледяной холод стали и тотчас проснулся – его лоб покрылся испариной.

Как правило, князь Цицианов не видел снов, впрочем, может, и видел, но, про-

снувшись, ничего не мог вспомнить, словом, у него не было проблем со сновидениями, тем, чем занимались на досуге петербургские шарлатаны, пытающиеся разгадывать сны, но тот, обдавший его посреди ночи холодом, сон подействовал на князя Цицианова – что это? что за сновидения накануне военного похода на Баку, что оно означало, может, это некий знак, связанный с судьбой, занесшей его в этот далёкий и дикий край? Может, и его ждёт такая же холодная, как лёд, участь генерала Лазарева?

Князь рассердился на самого себя, что за глупые и пугающие мысли? – кажется, Кавказ превращает его в гадалку-цыганку, и он этого не сознает?

Князь Цицианов ощущал внутри себя какое-то смешанное с тревогой беспокойство – казалось, это было беспокойством и тревогой кануна какого-то несчастья, невезения, за всю свою жизнь он не переживал подобного состояния. В его жизни – даже на этом самом Южном Кавказе – было немало тревожных минут: в ожидании вестей от армейских частей, ввязавшихся в бой, беспокойное ожидание ответа какого-то твердолобого правителя на требование сложить оружие, сдаться, не проливая крови, но они приходили вместе с гневом, раздражением и вместе уходили, но...паники никогда не было.

И именно в эти мгновения князя Цицианову привиделся кинжал, что во сне вонзился в живот, – тот самый, которым царица Мария ударила генерала Лазарева, и князь в объявшем всего его чувстве одиночества подумал, что земля Закавказья, в целом, Кавказа, жаждет человеческой крови, эта земля любит кровь, на этой земле существует некий вампиризм, здесь даже солнечная система может вращаться вспять.

Да, здесь, на Кавказе даже солнце может вращаться вспять.

В мае 1804 года, в то время, когда эта земля-вампир буйно раскрасилась, прижилась цветами и кустами, князь Цицианов с двадцатитысячной армией, готовясь к наступлению на Эриванское ханство, не желая бессмысленного кровопролития, написал письмо тамошнему хану Мухаммеду, требуя полной капитуляции: «Клянусь Создателем, солнце может повернуть вспять, испарится, исчезнет Каспий, но ничто не в силах отразить моё наступление».

Наместник и правда бросился в наступление, окружил и осадил Эриванскую крепость, осада длилась три месяца, однако отвергнувший все требования о капитуляции Мухаммед-хан вместе с жителями города вынес все лишения и потери, но крепость не сдал. На грозные, полные оскорблений письма князя хан отвечал не оскорблениями, а с достоинством, не сумевший одолеть крепость, Цицианов ощущал себя не столько побеждённым, сколь униженным; во время Эриванского похода, казалось, даже судьба отвернулась от князя – наступившая жара, невиданная прежде в этих местах, косила солдат, из-за неё же запаздывали подводы, доставляющие провизию, к тому же часть её портилась по дороге, и еще – одна дурная весть преследовала другую: Аббас Мирза решил расположить свою штаб-квартиру вблизи Эривани. Не желая допустить этого, князь Цицианов отправил туда часть своих сил во главе с генерал-майором Портнягиным.

Но Аббас Мирза опередил Портнягина, выдвинувшись первым, одержал вверх, Портнягин был вынужден отступить; в одну из ночей Аббас Мирза, совершив налёт, окружил находящийся в рядах русской армии отряд грузинской конницы, захватив всех их в плен, отправил в Тегеран. Всё тот же Аббас Мирза неожиданно напал и на сторожевой пост русских в ста верстах от Эривани, перебил всех защитников поста во главе с майором Монтрезором. Не имея средств и возможностей достойно ответить

на всё это, князь под грузом чувства досады был вынужден в сентябре снять осаду крепости.

Князь никогда и ничего не скрывал от императора, и на сей раз в своём рапорте его величеству писал: «Когда я думаю о себе, у меня болит в груди. За тридцать лет службы я впервые был вынужден отступить, не одолев осаждённую крепость».

Князь произвольно провёл рукой по груди, над сердцем – ну и что с того? Какой смысл в этот поздний час вспоминать всё это? Если при каждом спотыкании, потере инициативы солнце станет вращаться вспять, на свете не останется камня на камне, но солнце, как всегда, утром восходит, а вечером заходит.

Что за детские мысли? Не зря ли полвека обходили тебя пули и ядра, щадили сабли, и всё для того, чтоб сейчас тебя прошиб холодный пот, и ты погрузился в подобные бредовые мысли?

Но в глубине души чувствовал, что Эриванское фиаско просто повод, не это заставило его проснуться среди ночи, не это удручало, не от этого щемило сердце...А от чего же?

На сей раз князь Цицианов уже не мысленно, а шёпотом сказал себе:

– Достаточно! – и сразу усмехнулся: в полночь главнокомандующий отдаёт приказ самому себе – рядовому.

«Всё это от одиночества», – внезапно пришедшая мысль снова обдала его холодным потом.

Князь Цицианов никогда не чувствовал себя одиноким, чувство одиночества было для него абсолютно чуждо, и внезапно пришедшая на ум мысль – «от одиночества» – заставила его по-настоящему вздрогнуть. Что за настрой? Что за слабость? Он даже вспомнил оставшуюся там, где-то вдали, «Юлию». Отчего он вдруг вспомнил переведённую им с французского в 19 лет повесть «Юлия, или счастливое огорчение». Неужто 51-летний генерал от инфантерии, всесильный Наместник Кавказа впал в сантименты?

Подростком князь пописывал и стихи, ему захотелось вспомнить их, но ни одна даже завалыющая строка не вспомнилась. Он чувствовал, что эти мысли, подобный настрой, уведут его в какую-то неведомую даль, о которой он несколько не хотел думать, и его чёткий, всегда работающий как заведённые часы мозг, чтобы не уходить в эти дали – утопающий хватается за соломинку – снова напомнил ему о Эриванском ханстве.

Фиаско похода на Эривань, по сути, было небольшим уроком, и князь Цицианов не забывал о полученных уроках, больше того – умел делать из них выводы. Сейчас готовился поход на Баку, и у князя не было никаких сомнений, что он захватит его. Совсем скоро – после Баку – придёт черед и Эриванского ханства, на сей раз и Эривань войдёт в состав державы, в этом князь тоже несколько не сомневался. Южный Кавказ, как и весь Кавказ, навечно станет частью, провинцией России, и кровь, пролитая на этой земле русским воинством, не будет напрасной.

Да, он – князь Цицианов – мечом и штыком привёл в Закавказье Россию, но придёт время, и этот край узнает и другую – просветительскую Россию. Россия сама, приобщаясь и вбирая в себя культуру и просвещение Европы, принесёт их и сюда, и тогда аборигены Южного Кавказа, снявшие с себя кинжалы и надевшие галстуки-бабочки, даже не вспомнят, что фраки и сюртуки, в которые они так гордо облачились, принёс в Закавказье меч князя Цицианова.

Князь Цицианов протянул руку к стоящей у кровати тумбочке, найдя небольшой

колокольчик, тряхнул его.

Тотчас распахнулась дверь, вошёл дежурный офицер:

– Слушаю вас, ваше сиятельство!

Слабый свет заправленного нефтью светильника в смежной комнате осветил спальню, и казалось, этот свет немного смягчил беспокойство и смятение, охватившие было князя.

– Подайте мне воды.

Дежурный офицер принёс воды, и князь, присев на край кровати, выпил, вернул чашку стоящему навытяжку дежурному.

Офицер вышел из спальни, осторожно прикрыв за собой дверь, и комната погрузилась в такую же, как прежде, темноту.

И вдруг из этой темноты, глянув на князя Цицианова, улыбнулась царица Мария.

Князь был человеком далёким от мистики, не только не воспринимал, но вообще не интересовался ею, и вера в мистику некоторых аристократов Петербурга и Москвы, даже того же несчастного Павла, внутренне раздражала, коробила, подобный интерес людей в первую очередь к собственной персоне оценивался им как равнодушные к судьбам России.

В ту полночь перед глазами князя Цицианова замелькала цифра четыре: царствование Павла длилось ровно четыре года, четыре месяца и четыре дня. Эти три четверки словно были зашифрованными кодами судьбы, эту дату Павел ждал ровно тридцать четыре года – он должен был вступить на трон ещё тридцать четыре года назад.

Сказывали, что её величество Екатерина в своем завещании назвала наследником своего внука Александра, но когда императрица была на смертном одре, Павел нашёл и сжёг это завещание.

– Проклятье дьяволу! – прошептал князь Цицианов. – Теперь уже и ты поддаёшься дворцовым сплетням? Сказывают...Сказывают...С каких пор, ваше сиятельство, господин главнокомандующий, тебя стали занимать пересуды обывателей?

И в тот момент, когда он иронизировал сам над собой, князю вдруг показалось, что на число 444 указывает ему царица Мария.

– Что такое!? – с выплескивающимся изнутри гневом прошептал он. – Князь Павел Дмитриевич Цицианов! Что это? Ты что, превратился в одинокого дряхлого старика?

Что за наваждение?

Вместо того, чтобы гордиться, вспоминая такого воина, как генерал Лазарев, его глазам предстаёт, желая утратить его, такая мегера, как Мария?

Со всей страстью князь Цицианов осерчал сам на себя, и переполняющие его чувства одиночества, подозрения, смешанные со смятением в предвестии какого-то кануна, будто испугавшись его ярости, улетучились в один миг.

Генерал-майор Лазарев был достойным солдатом империи, прожив славную жизнь воина, он пал жертвой кавказского коварства.

Два года тому назад – тогда тоже только что наступил новый 1803 год – генерал Лазарев, имеющий особые заслуги в переселении большинства грузинских династий в Россию, тот самый тифлисский полицмейстер, генерал-майор Иван Петрович Лазарев, получив сведения от созданной им же в городе агентурной сети, рапортовал главнокомандующему, что группа грузинских аристократов готовит переворот,

чтобы усадить на трон Багратионов, и что среди готовящих переворот есть и князя Цицишвили – имеющие родственные связи с главнокомандующим. Генерал Лазарев был не из тех офицеров, кто поостерёгся бы сообщать подобные сведения, что он и сделал, назвав Наместнику поименно всех заговорщиков. Подобная прямота, откровенность и добросовестность были по душе князю, он высоко ценил эти качества генерала, относился к нему с подчёркнутым уважением.

После тщательного расследования главнокомандующий убедился в точности информации генерала Лазарева и, разъярённый предательством грузинских аристократов, с особой жестокостью расправился с заговорщиками, не пощадив, разумеется, и своих родственников. Сумевшие улизнуть, унося с собой несбывшиеся мечты, кое-как сохранили себе жизнь, а те, кому не удалось бежать – эти чванливые, высокомерные грузинские князья по приказу Цицианова были заточены в Метехскую крепость как обыкновенные воры и мошенники.

После этого случая князь Цицианов лишней раз убедился, что если не выслать из Кавказа всех отпрысков грузинских царей, князей, порядка и спокойствия в Грузии не будет, иначе не справиться с амбициями тех, кто и сегодня мечтает о царском троне.

Следовало убедить императора Александра, чтобы тот дал возможность Наместнику лишать всех членов царских, княжеских семей права проживания в Грузии, Цицианов решительно обратился с этим предложением к самому Императору и добился этого.

После высокого монаршего разрешения, по приказу и под непосредственным контролем Цицианова началась повальная высылка всё ещё остающихся в Грузии принцев, членов царских семей. Среди тех, кто не желал переезда, особо сопротивлялся этому, была близкая родственница князя Цицианова – царица Мария, и отправку этой негодницы вместе с детьми он поручил лично генералу Лазареву.

Жаль Лазарева, такой доблестный офицер погиб от рук мегеры, грузинской Бабы-Яги, столь дешёвой, не красящей его смертью.

Такие вот дела, Бабуа...

И вдруг внезапно князь Цицианов вспомнил Бабуа Арчила.

* * *

...В том видимом измерении вдоль берега Каспия медленно ехал всадник.

И ОН, конечно же, узнал Пантеру.

Сидящий на коне молодой азербайджанский бек порой гладил, почёсывал гриву Пантеры, и нежная радость, исходящая от коня, волнами разливалась вокруг.

В эти мгновения Пантера был, вероятно, самым счастливым конём того видимого измерения.

8

Тифлисский полицмейстер, генерал-майор Иван Петрович Лазарев происходил из обедневших польских шляхтичей, переехавших в Казанскую губернию в начале прошлого века. Он был направлен в Кахетию в 1799 году, тремя годами раньше князя

Цицианова.

Постаревший кахетинский царь Георгий XII, желая противостоять с Юга – Каджарам, а с Севера дагестанским хакимам, обратился к императору Павлу с просьбой о военной помощи, и служивший в то время в Моздоке и только недавно получивший чин генерал-майора Лазарев по указанию императора вместе со своим полком направился в Закавказье, перевалив ровно за тридцать шесть дней заснеженные, завьюженные Кавказские горы, добрался до Тифлиса, и тогда-то ему стало ясно, что хаос и неурядицы в Кахетии объясняются не столько военными нашествиями Османов и Каджаров, страхом внезапных набегов лезгин и аварцев, сколь бесконечной борьбой, которую вели, строя козни и интригуя друг с другом, желая завладеть тронном, грузинские принцы.

У известного жизнелюба грузинского царя было несколько взрослых сыновей от разных жён, слабый здоровьем и безвольный Георгий XII никак не мог справиться со своими сыновьями, откровенно опасаясь, не решался объявить одного из них наследником.

...Несколько лет назад в жизни генерала Лазарева произошла никогда не способная зарубцеваться трагедия – за короткое время совершенно неожиданно скончалась его шестнадцатилетняя дочь Татьяна, не прошло и года, ушла из жизни не смирившаяся с этой утратой супруга Зохра. После смерти Зохры – крещёной татарки, оставшись совсем один, он ещё больше, чем прежде, отдался работе, все его интересы, мечты и желания, симпатии и увлечения сфокусировались на армейской службе.

Расположив в Тифлисе свой полк, генерал Лазарев в первую очередь занялся тем, что обезвредил грузинских принцев – одних откровенным давлением, других – посулами, заставляя переехать в Россию; в этом нелёгком деле он опирался на силу своего полка, вес и влияние империи, а также личный авторитет, хотя, известно, завоевать авторитет на Кавказе штука нешуточная!

Дело в том, что через некоторое время после прибытия в Тифлис, это был уже 1800 год – наступило новое столетие – начался XIX век – аварский хан Омар с пятнадцатитысячным отрядом, в сущности, настоящей армией, пересек границу Грузии, это известие привело в ужас всю Кахетию – царя и враждующих друг с другом принцев, сельских жителей и именитых князей. Омар-хан пользовался большим авторитетом не только среди аварцев, но и во всём Дагестане, этот решительный, смелый человек был популярен на всём Южном Кавказе, о его доблести и одновременно жёсткости ходили легенды, сложенный ашугами дастан «Омар-хан Аварский» рождал чувство восхищения отвагой этого правителя, но одновременно вселял в людей страх.

Нашествие на Кахетию Омар-хана и его правой руки Искендер-бека с огромным отрядом предвещало большую беду, оно являлось для генерала Лазарева серьезным испытанием, но оно же и позволило укрепить позиции империи в регионе. Генерал оказался достоин этого вызова, вместе с дополнительными силами, прибывшими с Севера – семью батальонами, подкреплёнными артиллерией, выйдя из Тифлиса, он встретил Омар-хана на берегу реки Иори. В том сражении на помощь Лазареву пришли и конные отряды грузинских принцев – Баграта и Иоанна, и русские войска, не боящиеся ни пуль, ни сабель, благодаря решительному и тактически верному командованию Лазарева, нанесли поражение Омар-хану, получив ранение, хан вернулся в Дагестан, а Искендер-бек оказался в плену.

За эту победу генерал-майор Лазарев был удостоен Командорского креста Свя-

того Иоанна Иерусалимского, а грузины в честь особого уважения и почёта отрезали голову Искендер-беку и, сунув её в мешок, принесли к дому, где проживал генерал. Генерал, держа за волосы голову бека, вышел на балкон второго этажа дома, где проживал, и под горячие приветствия грузин показал её собравшимся.

Вот так утвердился авторитет генерал-майора.

С тех пор даже царица Мария иногда принимала в своей резиденции генерала Лазарева, делилась непосредственно с ним своими мыслями, и подобное отношение супруги Георгия XII – той самой Марии! – ещё больше нагнетало злобу и ненависть к Лазареву врагов Марии, с другой стороны, приносило ещё больше уважения со стороны её сторонников, как бы там ни было, во время встреч Лазарева с царицей создавалась какая-то особая атмосфера и настрой. Со дня прибытия на Южный Кавказ регулярные randevu, встречи с царицей Марией – обо всём следует говорить честно – стали лучшими мгновениями жизни Лазарева последних лет.

Жёсткой, упрямой и красивой царице Марии ещё не исполнилось и сорока лет, но в этой женщине была такая властность, что даже её злейшие враги – принцы от других жён Георгия – терялись при встрече с ней, боялись попасть в раскинутые ею сети.

Можно сказать, почти каждый день перед сном генерал Лазарев вспоминал и Таню, и Зохру, и был совершенно уверен, что они обе в том праведном мире – рядом с ангелами, так как они были чисты и непорочны как ангелы, но в следующую, после того как он впервые увидел Марию, ночь, ему подумалось, что будь на месте Зохры царица, она никогда не ушла, оставив его одного. В тот миг в его душе проскользнуло почти телесное ощущение: в том, что Зохра улетела к ангелам, оставив его, был некий эгоизм, даже элемент предательства, и тут же подумал, насколько несправедливо это чувство, и сам был поражён, потрясён этим.

Царица Мария смогла бы пережить смерть Тани, не оставила генерала Лазарева одного, а вот Зохра не пережила этого и вслед за дочерью улетела в небеса: что это? – верность или предательство, измена по отношению к оставшемуся в одиночестве Лазареву – конечно же, верность, но после той первой встречи с царицей Марией в мыслях и чувствах Лазарева она виделась ему той женщиной, что, пережив смерть дочери, не оставила его одного, и это было бы не предательство, а свидетельство большой и стойкой верности.

Царица Мария даже близко не подпускала мысль об отправке в Россию её сына и дочери, больше того, мечтала посадить девятнадцатилетнего Джебраила на кахетинский трон. Сколько ни повторял Лазарев, что и в Санкт-Петербурге Джебраил и Тамара сохранят титулы принцев, получат хорошее образование, им будет отписана земля вместе с крепостными крестьянами, всё это не возымело успеха.

Уговорить Марию было невозможно, а её влияние в грузинском аристократическом обществе было таково, что применение насилия могло ещё больше ослабить и без того не очень популярные пророссийские настроения; с другой стороны, Лазарев никоим образом не способен был говорить с Марией языком ультиматума, и Мария отлично это сознавала.

После кончины в декабре 1800 года Георгия XII началась смертельная схватка принцев за кахетинский трон, и когда вражда различных сил, поддерживающих или отрицающих права того или иного принца, достигла пика, внимательно отслеживающие события Османы и Каджары стали пытаться использовать создавшуюся ситуацию для укрепления своих позиций в Закавказье.

Именно тогда заветная мечта царицы Марии – корона Кахетии должна принадлежать Джебраилу! – ещё более усилилась, превратившись в неодолимую страсть.

Генерал Лазарев, ожидая решения императора, опираясь на силу оружия и на свой авторитет, не допускал, чтобы кто-то из принцев захватил трон. Высочайший манифест Павла был таков: Грузия присоединяется к России, и генерал Лазарев распорядился зачитать его во всех грузинских церквях и азербайджанских мечетях.

Грузинские принцы, продолжая интриговать и плести сети заговоров, приняли этот манифест с яростью, а что делала с присущей ей настойчивостью, к каким средствам прибегала, какие комбинации выстраивала царица Мария? – даже половины того генерал Лазарев, имеющий платных и добровольных доносчиков во всех слоях грузинского общества, не знал.

Два года прошли в подобном противоборстве, наконец в августе прошлого года его величество император Александр назначил князя Павла Дмитриевича Цицианова главнокомандующим войсками на Кавказе, уже после первой встречи между князем и генералом Лазаревым установились ровные, деловые отношения – оба они были людьми служивыми, главнокомандующий стал освобождать Грузию не только от принцев, но и от любого, кто имел хоть малейшее отношение к царской фамилии, и, столкнувшись с упрямством и непреклонностью царицы Марии, вечером 17 апреля 1803 года вызвал к себе генерала Лазарева.

В тот апрельский вечер в Тифлисе по-настоящему ощущался приход весны, князь Цицианов широко распахнул окна, в кабинете тоже запахло весной. Хотя дни становились все длинней, кабинет понемногу погружался в полумрак, но князь не приказывал зажечь светильники, заправленные нефтью – их запах был абсолютно чужд наполнившему комнату аромату весны.

Сидевший за просторным письменным столом, уставленным многочисленными рапортами, сообщениями, даже доносами, глянув на вытянувшегося по стойке «смирно» генерала, князь поднялся, пройдя вперёд, встал лицом к лицу с ним: генерал-майор являлся истинно русским офицером, верным отечеству и императору, они явно испытывали друг к другу уважение и симпатию.

Генерал Лазарев был одним из редких старших офицеров, что служил не ради высоких чинов и званий, а интересам родины и империи: Цицианов гордился именно такими русскими генералами.

Наместник глядел на вытянувшегося перед ним сравнительно молодого генерала, и память унесла его в те далекие времена – почти двадцать лет тому назад – когда он полковником служил в Санкт-Петербурге, командуя гренадёрским полком, иногда он точно так же стоял навытяжку перед командующим, генерал-фельдмаршалом графом Салтыковым, они тоже питали друг к другу взаимную симпатию. Просто сегодня в роли фельдмаршала Салтыкова был он сам, а в роли полковника Цицианова – генерал Лазарев.

– Генерал! – произнес князь Цицианов. – У меня нет желания потворствовать чьим-то капризам! В том числе капризам царицы Марии. Я поручаю вам завтра утром вывезти Марию и её детей за пределы Тифлиса и отправить их в Петербург.

Приказ главнокомандующего не оказался для Лазарева неожиданным, он был убеждён, что человек характера Цицианова не станет долго терпеть упрямство Марии, рано или поздно этому будет положен конец, Наместник отправит в Россию не только отпрысков Марии, но ради общего спокойствия и стабильности и саму царицу.

Генерал знал и то, что царица Мария является близкой родственницей Цицианова, но для князя не имело никакого смысла и значения близкое или дальней родство, даже само существование тех грузинских аристократов, которые, будучи родственниками или нет, выдавали себя за таковых, не говоря уже о тифлисских прощелыгах, которые тоже были непрочь примазаться к имени князя. Но для главнокомандующего, как уже было сказано, это не имело ни смысла, ни значения.

Цицианов устроил такую головомойку князьям Цицишвили, враждебно относящимся к России, что предпринятые им кары показались сверхсуровыми даже для непосредственного, активного исполнителя этих наказаний – генерала Лазарева, в рамках своей компетенции он написал рапорт, представив главнокомандующему несколько смягчающих предложений, но Цицианов отверг их.

И после приезда князя в Тифлис в качестве главнокомандующего генерал Лазарев ожидал подобного указания и в отношении царицы Марии и, думая об этом по ночам, по-настоящему волновался, в его воображении возникала жуткая картина: схватив за волосы, он волочит царицу Марию по полу и сдает конвою, в подобные минуты у этого не знающего страха русского генерала от волнения сводило всё тело.

Но, несмотря на это, он докладывал главнокомандующему, в ряду других секретных информации, сведения и об антироссийской деятельности царицы Марии – это было вне личных пристрастий Ивана Петровича, являлось долгом перед государством тифлисского полицмейстера – генерала Лазарева.

В те дни до слуха генерала Лазарева дошло, что царица Мария ведет тайную подготовку к побегу вместе с детьми в Стамбул, решив уже оттуда продолжать борьбу за выход Кахетии из состава России, а следующим шагом усадить на трон Джебраила, но ввиду того, что информация была не до конца уточнена, генерал не стал до времени докладывать о ней главнокомандующему.

В тот вечер 17 апреля 1803 года князь Цицианов сказал:

– Прошу исполнить приказ и завтра до обеда доложить об исполнении!

– Слушаюсь, ваше сиятельство, – сказал генерал-майор Лазарев, и всегдашняя решимость в его интонации не оставляла ни грана сомнения, что приказ будет неукоснительно выполнен.

В эти мгновения в голове князя Цицианова промелькнула мысль, что как было бы славно, если бы все его генералы, как истинно военные люди, были столь же смелы, решительны и исполнительны, как Лазарев – статный, высокий, чьи неподатливые рыжие волосы падали на белый лоб, а взгляд голубых глаз был всегда ясен и прозрачен, но князь Цицианов был не из тех, кто говорил всё, что пришло на ум, и только добавил:

– Свободны!

После смерти дочери и жены генерал-майор Лазарев остался совсем один, по утрам, ещё в полудрёме, он произвольно ожидал пробуждения птиц и, услышав их щебет на ближних деревьях – Тифлис был зелёным городом – окончательно открывал глаза и тут же вскакивал с постели. И 18 апреля 1803 года, рано утром птичий гомон заполнил комнату, сообщив о наступившем рассвете и начале замечательного весеннего дня.

Но в этот замечательный весенний день он был вынужден отправить царицу Марию в ссылку.

Через два дня генералу Лазареву должно было исполниться сорок лет, это был порог – так считал генерал – когда следует отчитаться перед самим собой за прожи-

тую сорокалетнюю жизнь, но у него не было на это ни времени, ни желания, ни соответствующего настроения: ему необходимо отправить Марию в изгнание.

Чтобы своевременно выполнить приказ главнокомандующего, ещё до ночи он поручил окружить резиденцию царицы Марии, отправил туда двух офицеров, подготовил для царицы, её детей и слуг кареты, наметил офицеров, которые станут их сопровождать, лично проверил конвой.

Был приказ главнокомандующего, отданный ради интересов государства, приказ должен быть выполнен неукоснительно, Лазарев знал, что так и произойдёт, и уже до обеда он доложит князю Цицианову об исполнении.

Этот приказ породил в душе генерала какую-то тоску и стеснение, но даже в мыслях он не мог допустить, что приказ не будет выполнен; конечно, придумав какой-то повод, можно отойти в сторону, сказаться, к примеру, больным.

Главнокомандующий мог поручить это дело кому-то другому, к примеру, подполковнику Серебрякову, по прозвищу «Мясник», этот человек с удовольствием справился бы с поручением, мог даже, схватив царицу Марию за волосы, волочить её по земле, но генерал Лазарев никогда не простил бы себе, сказавшись больным, манкировать солдатским долгом.

Он получил приказ, обязан выполнить и выполнит, пусть Мария его воображения станет вечно презирать его, пусть генерал Лазарев будет вечно страдать – приказ должен быть выполнен. Лазарев был солдатом – русским воином, а воин обязан выполнять приказ.

И в то весеннее утро генерал Лазарев сам отправился в резиденцию царицы Марии.

Царица Мария полулежала при параде на софе в своих покоях, откинувшись на мутаку¹, лишь накинув на себя лёгкую шаль, и генерал Лазарев, войдя, как всегда учтиво поклонился ей, и на мгновение в его голове пронеслась мысль, что необходимость поднять эту властную, деспотичную и прекрасную женщину с софы, чтоб отправить в Петербург – самый печальный, горестный приказ, подобно которому он не получал ни разу в жизни.

Принц Джебраил и его сестра Тамара восседали посреди комнаты в мягких креслах, двое офицеров стояли рядом по обе стороны.

Не поднимаясь с софы, не позволив Лазареву даже раскрыть рот, царица Мария спросила по-русски, который знала отлично, но с грузинским акцентом:

– Генерал, вы хотите насильно отправить меня в Петербург, не так ли?

– Ваше величество ... – начал Лазарев, но царица оборвала его:

– Смотрите мне прямо в глаза, генерал!

Генерал глянул в глаза царицы, и на миг ему показалось, что в её серых глазах, вместе с бесконечной яростью, в глубине этой ярости затаилась и любовь. Взяв себя в руки, генерал Лазарев сказал:

– Таково, ваше величество, предписание главнокомандующего.

Царица подняла голову с мутаки, дрожащим от гнева и презрения голосом сказала:

– Его деды были не только нашими родственниками. Они были, слышите, нашей челядью! Были слугами! И теперь я должна подчиниться его приказу? Так вы считаете, генерал?

Генерал отвёл взгляд от глаз царицы.

¹ Мутака – длинная, валиком подушка.

– Вы обязаны подчиниться приказу, ваше величество! – сказал он, и эти слова придали реальность обречённости царицы Марии и её детей.

На какой-то миг её голова, казалось, бессильно упала на мутаку.

В комнате наступила тишина. Её нарушила сама Мария:

– Ваш главнокомандующий – предатель, изменивший своему народу. И вы думаете сохранить Россию благодаря мечу предателей? – затем, после короткой паузы, добавила: – Ну, генерал? Прошу ответить на мой вопрос. Я – не рядовой человек, я – царица Мария!

– Ваше величество, я не могу считать ваши слова приемлемыми.

На сей раз царица Мария спросила смиренно и печально:

– Но вы считаете приемлемым, что мои дети провели ночь под надзором двух русских офицеров, не так ли?

Генерал Лазарев промолчал.

– Не надо, не отвечайте, господин Лазарев, – продолжила царица Мария. – Но я обращаюсь к вам не как к русскому генералу, а к русскому дворянину. Что вы думаете по поводу того, что отправляете в ссылку, в Россию, меня – царицу Марию, вместе с моими детьми?

– Я обязан выполнить приказ, ваше величество...

– Ведь я сказала, что обращаюсь к вам не как к генералу, а русскому дворянину. – И царица Мария, словно после минутной слабости, с особым ударением добавила: – Я обращаюсь к вам, слышите, к вам...

Наступила тишина, и Лазарев, наконец, нарушил её:

– Я – один и тот же человек, ваше величество...

– Нет, вы не один и тот же человек! – повысила голос царица Мария и с внезапной страстью спросила: – А что, если я не подчинюсь приказу?!

– Ваше величество, – сказал генерал Лазарев, – поверьте мне, ваше упрямство... – генерал на миг умолк, затем добавил: – ваша борьба не имеет перспектив. Переезд в Петербург для вас и ваших детей – самый благоприятный вариант. Ваш титул и титулы ваших детей будут сохранены. Вы станете жить под личной опекой его величества императора Александра. Вы...

Мария не дала договорить генералу:

– Не пытайтесь уговаривать меня, господин Лазарев!

– Ваше величество, – сказал генерал Лазарев, – очень прошу, убедительно прошу, не принуждайте меня, чтобы... – он не стал продолжать, несмотря на всё её упрямство, заносчивость, перед ним, русским генералом, была женщина – на деле беспомощная, обречённая... и любимая женщина.

За генерала продолжила сама царица Мария:

– Чтобы я не принуждала вас вышвырнуть меня силой на улицу? Не так ли, генерал?

– Ваше величество, – поспешно проговорил Лазарев, – прошу вас, собирайтесь! Кареты уже ждут. Я лично провожу вас.

И генерал Лазарев вышел из покоев.

Для него, боевого генерала, было куда проще и намного славней вступить в смертельную схватку с аварским ханом Омаром, нежели решать судьбу этой обречённой женщины, но если приказ дан – решать необходимо, причём неукоснительно и безусловно. Вчера вечером, после предписания главнокомандующего единственное утешало генерала Лазарева, что переезд в Петербург и проживание там, и верно,

было для Марии лучшим выбором. Даже если бы ей удалось бежать вместе с детьми в Стамбул, она ничего бы не добилась, в том костре, который царица собиралась разжечь, сгорела бы сама – в истории немало больших и малых царей, принцев, правителей, что, скинутые с престолов или ведущие борьбу за трон, бежали в Стамбул, как правило, они терпели фиаско.

Резиденцией царицы Марии являлось двухэтажное здание, покои были на втором этаже. Когда генерал Лазарев, вконец расстроенный, стал медленно спускаться по деревянным ступеням, в покоях царицы поднялся шум, раздался громкие крики, мгновенно повернув, он быстро взлетел вверх.

Войдя в комнату, генерал увидел, что принц Джебраил и принцесса Тамара с кинжалами в руках бросаются на офицеров, те с трудом отбиваются от яростных ударов, их руки были в крови.

– Прекратите! – крикнул генерал Лазарев. – Прекратите эти игры! – его гневный голос подействовал на брата и сестру, они опустили кинжалы, посмотрели на всё ещё полулежащую на софе мать.

На сей раз генерал Лазарев прикрикнул и на царицу Марию:

– Ваше величество, сказано вам, прекратите эти игры! Всё это добром для вас не кончится!

И в это мгновение царица Мария, словно осознав полную бессмысленность сопротивления, улыбнулась:

– Ясно, генерал!.. Ясно!.. – и, глядя прямо в глаза Лазарева, после некоторой паузы, выпростав правую руку из под шали, протянула её генералу: – Прощайте, генерал...

Услышав эти слова, генерал Лазарев успокоенно вздохнул, приблизился к софе, опустил голову, чтобы поцеловать протянутую руку, и в это время Мария с мгновенной стремительностью вытащила из-под шали кинжал, что держала в левой руке, вонзила его в грудь генералу.

Генерал Лазарев выпрямился, сделал шаг назад, протянул руку к груди, но схватить рукоятку кинжала не смог, опустился на колени.

– Мария... – прошептал он, и на мгновение генералу подумалось, что Мария отправляет его к Зохре и Татьяне, затем он посмотрел на свою окровавленную руку и успел подумать, что ангелы не примут его, так как руки у него в крови.

И генерал-майор Иван Петрович Лазарев перешёл в иной, милосердный мир...

Это известие мгновенно распространилось по всему Тифлису, привело в ярость князя Цицианова, он приказал посадить Марию и её детей в Метехскую тюрьму, в одну камеру с тифлисскими ворами, разбойниками, не делая никаких поблажек. Через некоторое время Мария вместе с детьми была отправлена в Россию, и всё ещё не успокоившийся после этого злодейского преступления князь Цицианов лично приказал сопровождающим обращаться с ними в пути как с обыкновенными преступниками. Князь Цицианов никак не мог совладать со своей яростью, он отправил в Петербург всеподданнейший рапорт о случившемся, требуя строго наказать царицу Марию. По предложению князя Марию по прибытию в Россию отправили в женский монастырь, в город Белгород в Воронежской губернии.

По приказу и при участии главнокомандующего генерал Лазарев был с высокими воинскими почестями предан земле в Сионском соборе Тифлиса.

* * *

В ЕГО памяти возникло такое пробуждение, что воспоминания, связанные с этим видимым измерением, словно стали подгонять друг друга, и остановить этот бег ЕГО бестелесной и невесомой субстанции было не по силам.

Жажда полета навстречу силе, желающей унести, увлечь ЕГО, правили всеми ЕГО чувствами, но воспоминания препятствовали этому, и сменяющиеся в том видимом измерении эпизоды не признавали никаких границ – прошлое и будущее, близкое и далёкое, родное и чуждое – слились воедино.

И эти, стремительно сменяющие друг друга эпизоды, с той же стремительностью распространялись информацию, окутывая волнами ЕГО бестелесную и невесомую субстанцию.

Вот это Владимирский собор иконы Святой Анны в Санкт-Петербурге, а тот пожилой мужчина с проседью в курчавых, зачёсанных на бок волосах, одетый на европейский манер, с крестом на груди, зажигает свечу, крестится и молится.

И в том видимом измерении ОН сразу же узнал Шариф-бека – толмача Бакинского ханства.

Сколько времени прошло в том видимом измерении?

Этого ОН не знал, и это ЕГО совсем не интересовало, ибо не имело никакого значения, и ОН уже точно знал, что принявший православие и наречённый именем Михаил – Михаил Шариф-бек – профессор, заведующий кафедрой востоковедения Петербургского университета.

О чем молил Создателя Михаил Шариф-бек, крестясь и зажигая свечу, ОН знать не желал, ибо это ЕГО совершенно не интересовало.

И в этот миг ЕГО бестелесная и невесомая субстанция слышала полный ужаса, взволнованный крик толмача – Шариф-бека: – Князь!.. Князь!.. – доносящийся откуда-то из дальней дали и обращённый к НЕМУ, князю Цицианову, сползшему с коня и распластавшемуся на пустыре у Двойных крепостных ворот, но то полное страха смятение толмача совсем не сказывалось на ЕГО бестелесной и невесомой субстанции.

Те волнения в том видимом измерении для НЕГО уже стали совершенно бессмысленны, ужасающее смятение в крике толмача Шариф-бека растаяло, словно этот крик понемногу превратился в голос Бабуа Арчила...

Бабуа звал ЕГО привычным, как всегда ласковым голосом, но ласка в голосе Бабуа тоже не имела для НЕГО никакого смысла и значения...

9

Сразу после дивана, проведённого восьмого февраля 1806 года по христианскому и второго месяца шубат по мусульманскому летоисчислению в связи с убийством Наместника Цицианова, воодушевившие, принесшие вдохновение Гусейнгулу-хану стихи – будто из колодца на Балаханской земле забила нефть – были следующими:

Стихи Моллы Панаха, визиря карабахского хана Ибрагим Халила, принявшего псевдоним Вагиф:

*Я правду искал, но правды снова и снова нет:
Всё подло, лживо и криво – на свете прямого нет.
Друзья говорят – в их речи правдивого слова нет,
Ни верного, ни родного, ни дорогого нет.
Брось на людей надежду – решенья иного нет.*

*Все вместе и каждый порознь, нищий, царь и лакей –
Каждый из них несчастлив в земной юдоли своей:
Их всех сожрала повседневность, оторванность от людей,
И сколько бы я ни слушал бесчисленных их речей –
В них, кроме лжи и неправды, смысла второго нет.*

*Странный порядок в силу у сильных мира вступил:
Чьё бы печальное сердце ты ни развеселил, –
Оно тебе злом отплатит, отплатит по мере сил, –
Им неприятен всякий, кто доброе совершил...
На целом огромном свете мне друга родного нет.*

*Ученый и с ним невежда, учитель и ученик –
Снедаемы все страстями, в плену у страстей одних.
Истина всюду пала, грех повсюду проник,
Кто в мулл и шейхов поверит, тот ошибётся в них.
Ни в одном человеке чувства святого нет.*

*Тот, кто дворец Джамшида в развалины превратил, –
Тот веселье и счастье безжалостно поглотил.
Нет никого, кто в горе кровь свою не пролил, –
Сам я не раз жестокой судьбою испытан был.
Повсюду царство коварства – и царства другого нет.*

*Всякий чего-то ищет, погонею поглощён,
Ищут себе престолов, венцов, диадем, корон.
Шах округляет земли – за ними в погоне он.
Влюблённый бежит за тою, в которую он влюблён.
Ни радости нет на свете, ни прочного крова нет.*

*Ты на людей, как солнце, свой излучаешь свет, –
Помни, что слов признанья в радостной вести нет.
Честь, благородство, совесть давно уж утратил свет.
Услышали мы, что где-то честности найден след.
Я долго искал и знаю – чувства такого нет.*

*Алхимиками я сделал множество гончаров.
В золото обращал я прах забытых гробов.
Из щепня я делал яхонт, с камня срывал покров,
Я мог превращать в бриллианты бляхи на шеях ослов,
Признанья искал – но мир мне ответил сурово: нет!*

*Я мир такой отвергаю, он в горле стал поперёк,
Он злу и добру достойного места не приберёт.
В нем благородство тщетно: потворствует подлым рок,
Щедрости нет у богатых – у щедрых пуст кошелёк.
И ничего в нем, кроме насилия злого, – нет!*

**Я видел конец надежды, мечтаний конец пустой,
Конец богатства и славы с их земной суетой,
Конец увлеченья женской невянущей красотой,
Конец и любви, и дружбы, и преданности святой.
Я знаю, что совершенства и счастья людского нет.**

**Потухли глаза, старею, жизнь черней и черней.
Сколько красавиц мимо прошло за тысячи дней!
Дурною была подруга, – погублено счастье с ней!
Аллах, одари Вагифа милостью своей:
Ведь, кроме тебя, на свете друзей у больного нет.**

Стихи Мирзы Мухаммеда Али, завоевавшего титул «царя поэтов» при дворе Сефевидского правителя Шах Аббаса II и писавшего под псевдонимом Саиб Табризи:

**Лицо свое нежное спрятала ты от прохожих,
Увидел я кудри, печальны глаза отчего же?
Письмо ты моё покажи соловью вместо розы, –
Ведь кровью омыто оно и на розу похоже.**

**К чему ты отшельнику дверь в дом любви отворила?
Рыдает павлин – ведь ворона его полюбила.
Влюблённая в розу душа в тёмной клетке отныне, –
Любовью пылая, ту клетку душа осветила.**

**Страданиями и горем моё сердце не терзай,
В огне горит душа, в огонь щепки не бросай.
Веселье – наша жизнь. Ненастье гоним все мы дружно.
Из клетки птицу выпусти – лететь ей в отчий край.**

Перевод Г.Асанина

Стихи Шаха Исмаила, создавшего государство Сефевидов, положившего основу династии Сефевидов, писавшего под псевдонимом «Хатаи»:

**До сотворения мира началом начал был я,
Тем, кто камней драгоценных ярче сверкал, был я.**

**Алмаз превратил я в воду, она затопила мир.
Аллахом, который небо и землю зачал, был я.**

**Потом я стал человеком, но тайну свою хранил.
Тем, кто в сады Аллаха первый попал, был я.**

**Я восемнадцать тысяч миров обойти сумел.
Огнём, который под морем очаг согревал, был я.**

**С тех пор я узнал все тайны Аллаха, а он – мои.
Тем, кто истины светоч первым познал, был я..**

**Я, Хатаи безнадежный, истины свет постиг.
Тем, кто в неверном мире всё отрицал, был я.**

Перевод Б.Лебедева, Л.Кацнельсона

Стихи современника Шаха Исмаила, прославленного не только в Карабахе, где он родился, не только в Азербайджане, но и во многих краях, вплоть до Анатолии – Ашуга Гурбани:

**С низины тянется туман,
Кружит, вершину обвивая,
Всё небо тучи обовьют –
Вокруг луны редее стая.**

**Несхожи участи людей:
Тот – нищий, этот – богатей.
Кружит по саду соловей,
Слезами землю орошая.**

**Держался долго ты в тени,
Дождлся доли, Гурбани.
Настал и твой черед, взгляни –
Приспела чаша круговая.**

Перевод Владимира Кафарова

* * *

... В том видимом измерении тысячи кладбищ – старые и новые – они были как бы продолжением друг друга, будто в этот миг то видимое измерение состояло только из кладбищ.

И в каком-то из них молился священник, в другом молла читал «Ясин» – поминальную суру из Корана, в третьем раввин произносил – «Эль мале рахамим», и всё это казалось ЕМУ совершенно бесполезным.

В ЕГО бесплотной и невесомой субстанции рождалось такое ощущение, что человек в том видимом измерении, выйдя из материнского чрева, по сути, сам того не зная, не сознавая, невольно стремится лишь к смерти, так как только она, смерть, освобождает человека от бессмысленности этого видимого измерения – сменяющих друг друга воспоминаний и эпизодов, бессмысленной борьбы, желаний и грёз, бессмысленного счастья и бессмысленного несчастья, бессмысленной радости и бессмысленных мук.

Но если то видимое измерение в такой степени состоит из бессмысленности, тогда почему ОН был в нём, и отчего теперь ОН здесь? – в идиллии подобной бесплотности и невесомости?

Отчего ЕГО не было, и в то же время ОН был?

И его бесплотная и невесомая субстанция абсолютно не сомневалась, была совершенно убеждена, что и людей в тех сменяющих друг друга воспоминаниях и эпизодах ждёт, когда пройдёт час, подобная же бесплотность и невесомость.

... Но в чём был смысл этого?

Отчего сначала ОН был там, а сейчас здесь (где)?..

И в то февральское раннее утро 1806 года Гаджи Мухтар-бек, проснувшись на лай собак во дворе, тотчас, не производя шума, чтобы не разбудить спящую Хури Бегим-ханым, поднялся с постели: времена были не лучшие – с одной стороны, русская солдатня, с другой – иранские сарбазы, да и доморожденные враги не дремлют – опасения вызывали чувство беспокойства даже у такого мужчины, как Гаджи Мухтар-бек.

И без того всегда осторожный, Гаджи взял одно из заряженных ружей, что постоянно держал в спальне, и хотел, как был в исподнем, выскочить на застеклённую веранду второго этажа, как Хури Бегим-ханым спросонок проворчала:

– О Господи!.. Что ещё случилось?..

– Спи... – сказал Гаджи Мухтар и, когда вышел на веранду, увидел, что охранники и слуги уже столпились у ворот, спрашивая прибывших, кто такие и чего они желают.

– Гаджи дома?

Гаджи Мухтар-бек узнал по голосу Махмуд-бека и, торопливо распахнув створку окна веранды, прокричал:

– Открывайте! Эй, как вас там, отворяйте ворота!

Псы во дворе, услышав голос Гаджи Мухтар-бека, тотчас прекратили лай, стали тихо поскуливать, а управляющий помещьем Гамдулла, поняв, что прибывшие в такую рань люди хозяину не чужие, крикнул слугам:

– Шевелитесь! Скорее! Скорее открывайте!

Слуги потянули толстый железный затвор, распахнули настежь ворота поместья Гаджи Мухтар-бека.

Махмуд-бек прыгнул с коня, прошёл во двор, поцеловал руку наспех одевшегося и спустившегося вниз встретить гостей Гаджи Мухтар-бека, затем они тепло обнялись, и Махмуд-бек с явным почтением, одновременно доверительно принёс извинение:

– Дядя, – так он обращался к Гаджи Мухтар-беку. – В такую рань разбудили тебя!..

– О чём ты, сынок? – и, увидев Моллу Музаффару, всё еще сидящего на коне, быстро подошёл к нему: – Молла Музаффар! Добро пожаловать, уважаемый! Ты оказал нам честь! – сказал он, помогая гостю спешиться. Затем обратился к сопровождающим: – И вам всем добро пожаловать, слезайте с коней, проходите! – и, повернувшись к слугам, бросил: – Займитесь гостями! – что означало: следует отвести коней в конюшню, насыпать им сена, принести мыла и полотенца, чтоб гости умылись, развести огонь, порезать барана, разжечь мангалы, тендиры¹. В это время издали донеслись звуки азана – призыва с минарета к утренней молитве, и Молле Музаффару показалось, что звуки азана переполнили его душу, принеся с собой особую чистоту, молла, повернув голову в сторону, откуда доносился азан, стал сквозь губы шептать молитву.

Служанки, проснувшись на шум во дворе, зная, что вне зависимости от времени дня или ночи, если к Гаджи Мухтар-беку заявились гости, следует приниматься за готовку, зажгли в своих комнатах на первом этаже привезённые из Баку, заправленные нефтью светильники, свет их заставил собак, прекратив поскуливание, устре-

¹ Тендир – земляная печь.

мить заблестевшие в холодной предрассветной темноте глаза на внезапно появившихся во дворе гостей.

– Наш путь на тот берег Аракса... Это поручение хана, дядя, – сказал Махмуд-бек. – Вечером, с наступлением темноты, пустимся в дорогу.

– До вечера времени ещё много, – проговорил хозяин, – проходите в комнаты.

Гаджи Мухтар-бек, увидев меж всадников также Лал Гафароглу, которого видел несколько раз в Баку, во дворце Гусейнгулу-хана, понял, что поездка, предпринятая гостями, совсем непроста, от острого взгляда хозяина не скрылось и то, что, спрыгнув на землю, Махмуд-бек не выпустил из рук уздечку, а когда один из слуг подошёл, чтоб отвести его коня в конюшню, Махмуд-бек, бросив тому: – погоди! – сам отвязал притороченный к седлу небольшой мешок, взял его с собой.

Слуга удивился тому, что бек сам стал отвязывать мешок и взял его с собой, но, хорошо зная, что при Мухтар-беке не стоит говорить лишнего – ещё неизвестно, как отреагирует – не сказал ни слова, просто взял коня Махмуд-бека за узду и отвёл его в конец двора, в конюшню, как и других коней приезжих.

Махмуд-бек, Молла Музаффар и Лал Гафароглу в сопровождении хозяина поднялись в гостевую на втором этаже поместья, присели, сложив ноги под себя, на разложенные по краям ковра подушки с парчовыми наволочками.

Где бы ни встречал Махмуд-бек «ковры Гаджи Мухтара», сразу узнавал их, и каждый раз узоры этих ковров, их краски рождали в его сердце волну радости, и эта радость словно являлась проблеском надежды в этом тёмном, невежественном, не понимающем его мире.

Более десяти тысяч голов породистых овец Гаджи Мухтара паслись на равнинах Мугани, и вытканые из шерсти этих овец в его цехах ковры были знамениты не только в Азербайджане или Грузии, не только, как говорится, и в Иране, и в Туране, но и во многих странах, как «ковры Гаджи Мухтара». Их можно было встретить во дворцах ханов и шахов, присланные славящимся щедростью Гаджи Мухтаром в дар и Махмуд-беку несколько ковров были красой его особняка в Баку и загородного в Шувелянах.

Гаджи Мухтара, человека известного и состоятельного, несколько покорило, что, войдя и усевшись в гостевой, Махмуд-бек положил рядом с собой мешок: если мешок полон золота и драгоценностей, держать его при себе являлось откровенным неуважением к хозяину.

Многие годы Гаджи Мухтар-бека связывали узы дружбы с покойным Шамиль-беком – отцом Махмуда, к тому же он, Гаджи Мухтар-бек, являлся кирве¹ самого Махмуда, и эта дружба была дружбой, испытанной в опасное и вероломное время. Добрые отношения связывали Гаджи Мухтар-бека и с самим Гусейнгулу-ханом, и если на Ширване существовало два-три человека, на которых хан мог положиться, то одним из них был Гаджи Мухтар-бек.

То, как вопил трёх-четырёхлетний Махмуд во время церемонии обрезания, увидев в руке специально приглашённого из Дагестана известного цирюльника Османа бритву, навсегда запомнилось Гаджи, хотя с тех пор прошло, вероятно, более чем двадцать лет, – это вспоминалось всякий раз вдруг, неожиданно, даже в самые напряжённые моменты, Гаджи, не удержавшись, начинал смеяться, а находящиеся рядом толковали этот внезапный смех по-разному, делая для себя всевозможные вы-

¹ Кирве – близкий друг семьи, который держит мальчика на коленях во время церемонии обрезания и впоследствии считается почти родственником, даже в какой-то мере несущим ответственность за мальчика, его опекуном.

воды.

Для всадников Махмуд-бека накрыли в комнате на первом этаже, подали всё, что и гостям на втором этаже: сначала настоенный на шафране и лимонах шербет, затем зелень, масло, сыр, тёплый лаваш, а чуть погодя кябаб из только что зарезанной овцы, запечённые в тендире куры, настоенный на чабреце айран², и Махмуд-бек, когда принесли шербет, медленными глотками отпивая его, сказал:

– Мы, дядя, едем встретится с Баба-ханом... – эта фраза основательно расстроила Гаджи Мухтар-бека: мешок, который держал при себе Махмуд-бек, несомненно, содержал ценности, что отправлял Гусейнгулу-хан Фатали-шаху, и получалось, Махмуд опасается, что подарки могут быть украдены, причём где – в его, Гаджи Мухтара, поместье.

Эта пришедшая на ум мысль повергла Мухтар-бека, умеющего обуздывать свои корыстные страсти, протягивать руку помощи бедным и сиротам во всём Ширванском ханстве, в дурное расположение духа, но это длилось недолго: Махмуд-бек сообщил то, что не сообщил бы никому, но Гаджи Мухтар не был «никем», и тайна злополучного мешка раскрылась.

– Дядя, – продолжил Махмуд-бек, – мы просим пригласить вашего медика Са-лахаддина, чтобы тот подготовил Голову к поездке. Ещё неизвестно, когда доберемся до Тегерана. По дороге у нас намечена встреча и с Аббасом Мирзой. Конечно, время сейчас холодное, но на всякий случай лучше покрыть Голову воском, если поездка затянется, может протухнуть...

Об убийстве Наместника Гаджи Мухтар прознал в ту же ночь, но то, что тому отрубят голову и отправят в дар Фатали-шаху, явилось неожиданностью. Впрочем, за все эти кошмарные годы, после неоднократных набегов Кубинского Фатали-хана при поддержке Шекинского Гусейн-хана на Ширванское ханство, наступления на всё то же Ширванское ханство Карабахского Ибрагим Халил-хана, заключившего союз с ханом Ленкорани, нашествия войск Мухаммед-шаха Каджара на Карабах, не сумевшего, однако, с насюда одолеть Шушинскую крепость и после той неудачи повернувшего армию на Грузию, превратившего Тифлис в груды камней, его вторичного похода на Карабах, взявшего, наконец, Шушу, но там же убитого в результате заговора, захвата русскими гяурами сначала при царице Екатерине, а теперь под командованием Наместника Цицианова Гянджи, укротившего Карабах и Шеки, их вступления в Ширван, и сотен подобных событий последних десяти лет пролилось столько крови, что убийства людей в этих краях стали почти обыденным делом, но, несмотря на это, когда он новыми глазами глянул на мешок – сбоку от Махмуд-бека, у Гаджи Мухтар-бека волосы стали дыбом, он содрогнулся: на руках Гаджи Мухтар-бека, чьи безбашенные, неуправляемые юношеские годы пришлись на напоминающий кипящий после убийства Надир-шаха котёл, тоже было немало крови, и даже теперь, перевалив за шестьдесят, Гаджи Мухтар мог, как и прежде, вскочить и ловко спрыгнуть с коня, его кинжал был как всегда остёр, а выпущенные им пули точно ложились в цель, этому человеку привиделось, что Голова из мешка глядит точно на него.

В этом его огромном поместье, всегда полном гостей и родственников – свидетеле множества напряжённых ситуаций, нередко хранились набитые золотом и драгоценностями торбы, но впервые в мешке появилась Голова – человеческая голова, и Гаджи Мухтару не понравилось, что, глянув на мешок, он содрогнулся, как

¹ Айран – разведенное в воде кислое молоко, прохладительный напиток.

могла содрогнуться женщина, и неожиданно для самого себя сказал:

– Открой его.

Махмуд-бек принял это желание кирвы за ненависть к Наместнику, и, не сказав ни слова, развязал и опустил вниз края мешка: поразительно, но голова князя Павла Дмитриевича Цицианова на круглом серебряном подносе и вправду глядела точно на Гаджи Мухтар-бека.

Голова была отрезана ниже кадыка, поднос заляпан вытекшей и свернувшейся кровью, горло ещё не было искривлено, стояло ровно, веки приподняты. Правый глаз вытаращен, будто хотел вырваться из орбиты, левый же глаз, сморщившись, казался меньше, губы слегка искривлены, сдвинуты, и в эти мгновения Гаджи Мухтар-беку показалось, что Голова, прежде чем быть отрубленной, хотела что-то сказать, но не успела, слова, которые она хотела произнести, застряли кляпом во рту. Слегка тронутые сединой курчавые чёрные волосы были взъерошены, а длинные бакенбарды выцвели и омертвели, оттого казалось, что и волосы, и бакенбарды не принадлежали Голове, их приклеили позже.

Опустилась продолжительная тишина, и Гаджи Мухтар, отведя глаза от Головы, спросил Моллу Музаффара:

– Как вы думаете, уважаемый, будет ли какая-нибудь польза от этого послания Баба-хану?

Молла Музаффар не видел Голову после того, как её отрезали, и когда развязали мешок, этот человек, что всю жизнь произнося молитвы, предал земле не один десяток усопших, вздрогнул, его сердце стремительно забило, закрыв глаза, торопливо, словно за ним гнались, стал молить про себя: «Боже, прости меня! Боже, прости мои грехи!».

Вопрос Гаджи встряхнул Моллу Музаффара, заставил очнуться, с явной печалью в голосе он проговорил:

– Гаджи, тысячи сожалений, но мы не нашли иного выхода...

В этот момент Молле Музаффару показалось, что на него снова нацелен чей-то взгляд, и Молла, внутренне вздрогнув, оглянулся по сторонам, даже непроизвольно глянул в потолок.

Гаджи Мухтар-бек всё ещё был под влиянием «дара», что везли Баба-хану, и, не обращая внимания на суетливые движения Моллы Музаффара, ещё какое-то время не отводил взгляда от Головы, затем сказал Махмуд-беку:

– Закрывай.

Уставшие после ночного перехода гости, в том числе Махмуд-бек с мешком в руке, закончив трапезу, поднялись и прошли каждый в отведённую ему комнату. Вернулся в свою опочивальню и Гаджи Мухтар.

Хуру Бегим-ханым ещё не поднялась с постели – уже который месяц боль в пояснице не давала житья этой женщине, кого только не приглашал Гаджи Мухтар, чтобы пользовали супругу, начиная от врача Салахаддина, кончая костоправами и гадалками, не осталось в округе молл, что не писали ей спасительные молитвы, приглашали известных целителей и из соседних ханств, хотя рядом с Салахаддином они считали себя неучами, но боль в пояснице Хуру Бегим-ханым не отпускала, больше того, усиливалась, особенно по утрам, до полудня она, как правило, валялась в постели.

– Как там Махмуд-бек? – спросила Хуру Бегим-ханым.

– Здоров, – коротко ответил Гаджи Мухтар.

- К добру ли его приезд?
- Конечно же, к добру. А как иначе?
- Какое у него к тебе дело?
- Тебя это не касается, спи.

Хури Бегим-ханым не имевшая ни сил, ни желания вмешиваться в дела мужа в этом непростое время, пробурчала:

- Разве удастся уснуть... – и добавила: – Они ещё здесь?
- Уедут вечером.

– Да? Надо через какое-то время встать, пойти поприветствовать их... Да разве я способна подняться?.. Лучше бы Аллах отнял жизнь, чтоб кончились мои муки! А Са-лахаддин только и именуется врачом...

- Закрой, закрой глаза, уснёшь...
- Да разве я могу уснуть!.. Если бы могла...
- Хури, – чуть повысив голос, сказал Гаджи Мухтар. – Спи!

Поразительно, но после приказного тона мужа – его голос будто проникал непосредственно в мозг Хури Бегим-ханым, облегчая её страдания – так случилось и на сей раз, она и вправду уснула.

Гаджи Мухтар-бек, совершив утренний намаз, как был, не раздеваясь, прилёг в постель и, заложив руки за голову, закрыл глаза.

Кажется, в эти-то его годы, в душу Гаджи Мухтара решил проникнуть дьявол.

Почти вырывающийся из орбиты правый и уменьшившийся левый глаз Головы не отпускали Гаджи Мухтара, и он произвольно ощущал, что это видение обязательно должно уйти, исчезнуть, ибо подобное видение втягивало, тащило его к ужасному деянию, и Гаджи Мухтар-бек сознавал, каким может быть подобное деяние, оттого он не хотел даже приближать к себе это желание, окончательно раскрыть, разоблачить себя, словно опасался чего-то и оттого хотел отогнать, изгнать атакующую его сознание мысль.

И в это зимнее утро не отпускающая его опасливая, устрашающая мысль понемногу обращала страх в настоящую ненависть, и с этим чувством, разрывающим его душу, Гаджи Мухтар-бек понемногу начинал ненавидеть самого себя. Годы уходят, неизвестно, как обернётся после него жизнь его большой семьи – сыновей, дочерей, внуков и правнуков, даже зятьёв и невесток, кто защитит их в это смутное время от врагов Гаджи Мухтара? Уже нет никакого сомнения, что русские полностью овладеют Ширваном – Мустафа-хан, подписав договор, принял российское подданство, и еще вопрос, станут ли всегда русские уважительно относиться к Гаджи Мухтару и его многочисленной семье, не соблазнятся, не пожелают ли прибрать к рукам его отары, стада крупного рогатого скота, табуны, торговлю и ковроткачество, не имеющее равных не только на Южном, но в целом на всём Кавказе? Мустафа-хан принял российское подданство, и русские, вероятно, уже подсчитали, что у Гаджи имеется 90 десятин земли, огромные пашни – как и что будет со всем этим, когда русские установят свои законы и правила, в том, что подобные изменения начнутся, он тоже несколько не сомневался – эти мысли часто посещали Гаджи Мухтара в последнее время, но никогда прежде они, эти вопросы, не были столь болезненны, и предельно ясно, что причиной, затягивающей Гаджи в омут ужасных мыслей, явилась та самая Голова.

– Лучше бы они её сюда не привозили, – прошептал про себя еле слышно Гаджи.

Хури Бегим-ханым, уснувшая недолгим сном, мгновенно очнулась, медленно открыла глаза, спросила:

– Что ты говоришь?

– Ничего. Спи...

Когда хозяин этой Головы еще готовился крупными силами к походу на Баку, обойти Ширван ему было никак, Цицианов, используя момент, отправил письмо, требуя от Мустафа-хана полного подчинения, но хан тогда отверг ультиматум. Не придав этому значения, Наместник прежде двинул войска в сторону Ширвана, а Мустафа-хан удалился в горы близ Лачина, решив какое-то время переждать, чем всё это кончится, но когда Наместник уже ступил на землю Ширвана, Мустафа-хан, оставшись в безвыходном положении, вернулся, принял российские требования, подписал соответствующие соглашения.

Когда ничего не опасавшийся Наместник, взяв с собой человек пять-шесть – перебить их было минутным делом – отправился в резиденцию Мустафа-хана на горе Фит, на этой встрече среди сановников был, как всегда, и Гаджи Мухтар-бек, в то время, знакомясь с ним, Цицианов сказал:

– Я много слышан о вас. Для налаживания стабильности в Азербайджане мы нуждаемся в таких авторитетных беках, как вы. Надеюсь, это наше первое знакомство перейдет в будущую дружбу.

Внимательно слушавший переводчика Гаджи Мухтар сказал:

– Благодарю вас, господин Наместник, – а вот о вас мы слышим постоянно... – эта реплика прозвучала двусмысленно, даже Мустафа-хан явно обеспокоенно посмотрел на Цицианова, затем на Гаджи.

А Наместник, глядя на Гаджи Мухтар-бека, выслушал перевод и, слегка улыбувшись, но уже с явным подтекстом, сказал:

– Еще повидаемся...

Глядя на них, Мустафа-хан предпочел сменить разговор:

– Ваше сиятельство, вы, – сказал он, – поднимаетесь в эти горы, взяв с собой всего несколько всадников, подвергая опасности свою драгоценную жизнь, – и, подняв руку, указал на пару орлов, присевших на обрывистую скалу. – Видите этих орлов? Эти горы – обитель орлов. Но наряду с орлами, здесь немало и разбойников.

Наместник Цицианов – хозяин той самой Головы, что всё это время держал в мешке рядом с собой Махмуд – отвёл взгляд от Гаджи Мухтара, тоже глянул на пару орлов, присевших и словно наблюдавших за ними с обрывистой скалы, все также улыбаясь, сказал:

– Хан, у императора Александра сотни таких, как я, солдат. Если я завершу свой жизненный путь, у его величества станет всего-навсего одним солдатом меньше. Это не повод для беспокойства!..

И тогда уже Гаджи Мухтар-беку показалось, что и в улыбке, и в словах Наместника таится некий тайный смысл, намёк на что-то – такие нынче времена – человек невольно ищет в каждой, даже вскользь брошенной фразе некое подспудное значение. И в перекидке словами с Наместником тоже было много чего, и всё это стояло перед глазами Гаджи, улегшегося, не раздеваясь, в постель.

Прошло какое-то время, и по поручению Наместника полковник Корягин пригласил Гаджи Мухтар-бека на встречу, и то, что эта приватная встреча была поручена именно полковнику Корягину, содержало особый смысл: несколько недель назад Аббас Мирза крупными силами не смог справиться с небольшим отрядом Корягина,

засевшим близ Худаферинского моста на Араксе, и эта виктория Корягина разнеслась повсюду, достигла даже Ширванского ханства. Наместник Цицианов поручил тайную встречу с Гаджи Мухтар-беком именно такому человеку, но Гаджи на эту встречу не поехал: о ней мог прознать Мустафа-хан, больше того, если бы разговор не сложился, то сами русские могли шепнуть хану об этой встрече – и тогда скрытое соперничество между Мустафа-ханом из Ханчобана и Гаджи Мухтар-беком, тоже из Ханчобана, перешло бы в откровенную вражду – а это было непозволительно. В нынешние, тяжёлые для населения Ширвана времена, он не желал сеять раскол в родной Ханчобанской округе. Гаджи ограничился тем, что отправил в дар Наместнику Цицианову два больших ковра, и эти ковры, по существу, были говорившими о многом своеобразными посланиями.

И вот новая встреча с Наместником.

Гусейнгулу-хан отправлял Голову Фатали-шаху, как бы говоря: «я – твой человек, я принимаю твою опеку, а ты – защити меня от русских», это-то предельно ясно. Но ни при каком раскладе хан бы не решился устраивать покушение на Наместника: на это ему не хватило бы ни дерзости, ни ума, и Гаджи Мухтар-бек не сомневался, что убийство Цицианова – дело рук Махмуд-бека. Гаджи Мухтар был также совершенно убеждён, что из-за этой Головы Фатали-шах не станет оказывать Гусейнгулу-хану помощь, даже если Аббас Мирза возьмёт верх над русскими, Фатали подомнёт под себя и Бакинское ханство, обратив его в провинцию своего государства, точно так, как он сделал это с азербайджанскими ханствами на южном берегу Аракса.

Но...однако...можно вернуть русским Голову... и за более высокую цену

Эта мысль как бы исподволь пронзила Гаджи Мухтара в тот же миг, когда он увидел Голову, затем эта мысль вдруг внезапно явилась в обнажённой форме, так, будто была даже не мыслью, а только что родившимся дьяволёнком. Эта мысль потрясла Гаджи Мухтар-бека, всем своим существом он пытался отогнать её от себя, но это никак не складывалось – только что родившийся дьяволёнок вцепился насмерть.

Преподнести Голову за высокую цену вовсе не означало: возьмите Голову, а мне вручите деньги, за высокой ценой стояло иное: я, Гаджи Мухтар-бек, отвожу от русского царя Александра стыд и позор самого факта преподнесения Головы в качестве дара Фатали-шаху – ещё неизвестно, что совершат в Тегеране с этой Головой, какие игры, унижающие и оскорбляющие русских, затеют. А я – Гаджи Мухтар-бек, превратившись во врага Фатали-шаха и всей династии Каджаров, никогда не стану искать у них убежища, ибо это будет означать гибель мою и всей моей семьи, но отчего взамен этому мне не принять покровительство вашего могучего государства и не стать ханом Ширвана, подобно Ибрагим Халил-хану в Карабахе? Недовольным этим, из всего населения Ширвана, могут быть лишь десять-пятнадцать кровников, но разве Гаджи Мухтару – хану Ширвана – не плёвое дело раздавить их в кулаке и сбросить в Куру.

Отчего не быть такому?

Дербентский Шир Али-хан хотел видеть Гаджи Мухтара правителем Ширвана, об этом своем желании ещё лет пять-шесть назад он говорил нескольким своим приближённым, ибо Ширван – ворота в Дербентское ханство, и им должен править крепкий, именитый человек, как Гаджи Мухтар-бек, способный защитить Ширван от набегов соседних ханств, и в первую очередь, от Карабахского ханства, чтобы никто не мог, одолев хана Гаджи Мухтара, напасть на Дербент. Желание Шир Али-хана дошло и до ушей Мустафа-хана – Кавказские горы величественны, но совершенно

не умеют хранить тайн – слышанное хан сам пересказал Гаджи Мухтару, буравя его глазами.

Так или иначе, рано или поздно Ширванское ханство примет подданство российского царя, ибо ход истории – в продвижении Запада вперёд и в отставании Востока. Чего достиг такой бесстрашный человек, как Джавад-хан? Гянджинское ханство, как ханство, стёрто с лица земли, даже город Гянджа переименован, кто через сотню-другую лет вспомнит это название? Только учёные-летописцы напишут, что когда-то город звался иначе, хотя и Джавад-хан мог, подобно карабахскому Ибрагим Халилхану, подчиниться русским, сохранить своё ханство, народ только выиграл бы от этого. Выиграл потому, что наука, просвещение тяготеют к Западу, это ясно, как Божий день, не видеть это – невежество.

Даже такой известный врач, как Салахаддин, уже не первый год пользуется Хури Бегим-ханым, но ничем не может помочь, а всё потому, что ему не хватает образования, и если это понимали не все, то Мухтар-бек понимал отлично. Сегодня знахарством или хорошим знанием богословия вперёд не шагнёшь, погляди, вот Султан Селим – умный человек, направил свой взор на Запад, и если невежды не воспрепятствуют, несомненно, его реформы принесут османам огромную пользу. Народ должен быть просвещён, без просвещения судьба его незавидна – в этом Гаджи Мухтар тоже не сомневался, и при виде дисциплины, порядка, следования законам в русской армии, мечта о таком просвещении росла в нём изо дня в день.

Что станет делать Мустафа-хан? Гаджи Мухтар-бек был абсолютно уверен, что оставшийся между молотом и наковальней, потерявший доверие и Баба-хана, и русских, он, как бы не юлил, не искал обходные пути, в конце концов поймет, что продолжать так бесконечно не удастся. Разве Фатали-шах забудет, как Мустафа-хан, пытаясь противостоять Ага Мухаммед-шаху Каджару, просил помощи и у османов, и у русских? А разве русские простят ему, что, подписав с ними договор, он одновременно просит о помощи османов – врагов русских. Всему свой срок, и оказавшись у пасти двух чудищ – русских и Каджаров – ты должен выбрать одного из них, чтобы таким образом обрести, насколько возможно, для себя какую-то пользу – и в этом Гаджи тоже не сомневался.

Ты должен уметь греться у очага одного из этих чудовищ – иное невозможно – и на трон Ширвана должен заступить новый человек, принять не на бумаге, а всем сердцем предложенную русскими автономию и, засучив рукава, навести порядок внутри ханства. У Гаджи Мухтара есть сила, энергия, решимость и авторитет, необходимые для подобного нового человека. И коль это так, отчего не захватить трон Ширванского ханства и заняться просвещением, образованием, благосостоянием народа? Разве почёт и уважение к Гаджи Мухтару от Сальян и всей Мугани – до округов Ховз, Элат, Гарасубасара, были меньшими, чем к Мустафа-хану? – нет, напротив, в ханстве все – от мала до велика – знали, что Муртуза-бек, дед Гаджи Мухтара, был Наместником Надир-шаха в этой области, и если бы дед не казнил Гаджи Мамедали-хана Зарнави, Мустафа-хан из рода Аскер-бека не смог бы воссесть на троне Ширванского ханства.

Гаджи Мухтар-бек отправлял ковры в Стамбул, а из Стамбула эти ковры развозились по рынкам Англии и Франции, часть их пропадала, исчезала по дороге, отчего не посылать их самому в Петербург или Москву, и уже оттуда в Европу?

Гаджи заерзал в постели.

Они оба – и Гаджи Мухтар-бек, и Мустафа-хан – были родом из Ханчобана, и

когда дед Мустафа-хана Аскер-бек ввязался в борьбу против назначенного Надир-шахом своим представителем на Ширване чужака – Гаджи Мамедали-хана Зарнави, руку помощи протянул ему именно Муртуза-бек. А теперь давайте отправимся в Ханчобан, поспрошаем людей, на чьей они стороне – Мустафа-хана или Гаджи Мухтар-бека? Гаджи Мухтар не сомневался, что если созвать съезд¹, подобный тому, что ровно семьдесят лет тому назад провел Надир, на том съезде ханом Ширвана был бы объявлен не Мустафа, а он – Гаджи Мухтар-бек. На том надировском съезде собрались самые уважаемые, авторитетные люди того времени – ханы, беки, духовенство, для них было сложено более десяти тысяч камышовых домиков. Так вот, в одном из этих домиков обосновался не Аскер-бек – дед Мустафы, а его, Гаджи Мухтара дед – Муртуза-бек, а Аскер-бека тогда даже близко туда не подпустили.

Если на самом деле существуют знаки судьбы, то именно эти знаки привели Голову в поместье Гаджи Мухтара, и разве можно упускать подобный шанс?

Так ли уж трудно взять и отвезти Голову русским?

Десять лет назад, летом 1796 года, после захвата Эриванского ханства Ага Мухаммед-шах Каджар именно на Мугани провёл церемонию водружения на себя короны – Муганская земля любила сильных личностей, правда, не всякий хан Ширвана мог быть Надир-шахом или Ага Мухаммед-шахом Каджаром, но что с того? – подобно любому рабу Божьему, каждый правитель должен протягивать ножки по одежке – Гаджи Мухтар в этом трудном, непредсказуемом, безумном мире сумел бы протянуть ножки по одежке.

Сопровождающие Махмуда всадники всю ночь провели в седле, сейчас спят мертвецким сном, перебить их всех, по поручению Гаджи Мухтара, людям управляющего поместьем Гамдуллы – дело плёвое, нескольких минут. А как же другие, например, Молла Музаффар? Ладно, Бог с ними другими, в том числе и с Моллой Музаффаром, а как же Махмуд?

Расправиться и с Махмудом?

Разве мало примеров на свете, когда отец ради престола убивал сына, брат казнил брата. Гаджи Мухтар, ты ведь человек бывалый, что за сомнения, что за уловки?

В это время из глубины души Гаджи Мухтара вырвалось стенание:

– Проклятье дьяволу!

– Что случилось? – в полудрёме, заныв от боли, спросила Хури Бегим-ханым.

– В мою душу проник дьявол!

– Что? – всё также в полудреме спросила Хури Бегим-ханым.

– Клянусь Аллахом, в мою душу проник дьявол! – тихо прошептал Гаджи так, будто говорил это не супруге, а самому себе.

Гаджи Мухтар-бека на Ширване знали как человека предельно властного и строгого, он иногда позволял себе подшучивать лишь над женой, и на сей раз, приняв слова мужа за шутку, Хури Бегим-ханым сказала:

– Так гони, гони его взашей, чтоб убрался..

«Не могу прогнать!.. Не могу прогнать!..» – и эти слова Гаджи Мухтар проговорил про себя, его челюсть и руки дрожали, конечно, можно позвать Гамдуллу, кинжал которого всегда висит на поясе, отправить его в комнату, где спит Махмуд, и всё разом кончилось, все потрясения остались в прошлом, случившееся не вернуть, время зарубцует эту рану, как зарубцовало прежние.

¹ В 1736 году Надир созвал на Муганской равнине съезд, на котором объявил себя шахом.

И в этот миг Гаджи Мухтар-беку почудилось, что кто-то смотрит на него, он невольно глянул в сторону двери, но кто там мог быть, да и кто осмелится отворить дверь их супружеской спальни?

Но Гаджи Мухтар всем существом ощущал те взгляды, нет, это не был тот, навсегда запечатлевшийся, осевший в памяти взгляд вытасченной из мешка Головы. Это были совсем иные, непостижимые, бестелесные, словно невидимые глазу взгляды.

Его спину прошиб пот – что это, неужели страх? Чего он опасался? Чего боялся? – каких-то неизвестных, проникших в сознание видений или собственных мыслей?

Всё тело Гаджи Мухтар-бека била дрожь, казалось, он очутился в совершенно ином мире, это не было сном, но и не было всегдашней реальностью, явью, в этом мире сладостный соблазн слился с горчайшей горечью.

Гаджи Мухтар-бек был весь в поту, и когда, закрыв веки, он стал вытирать рукой со лба пот, внезапно, будто это воспоминание принёс, поднявшись с постели, сам Махмуд-бек, Гаджи вспомнил сидевшего у него на коленях малыша, увидев бритву в руке цирюльника Османа, он закричал, заметался, попытался вырваться, но Гаджи ещё крепче привлёк, прижал его к себе, а цирюльник Осман за секунду проделал свою работу.

И сейчас, в течение секунды всё могло решиться.

И Гаджи Мухтар был готов даже прикрыть ладонью рот, чтобы не кликнуть, не позвать управляющего Гамдуллу, и сам того не ожидая, вскочил и, сказав себе:

– Да не будет тебе впрок тот благословенный хадж, что ты совершил! – направился к выходу.

Хуру Бегим-ханым всё также в полусне, не открывая глаз, спросила:

– Куда ты?

– В преисподнюю! – отрезал он, затем с уязвлённой и горестной искренностью в голос прошептал: – Скорее бы Аллах отправил меня самого туда! – и перешагивая ступени, спустился во двор.

Управляющий Гамдулла давал прислуге распоряжения, внезапно увидев Гаджи Мухтар-бека, глянув ему в лицо, понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее, но спросить о чем-то не осмелился.

– Приведите коня! Епанчу! Папаху! – крикнул Гаджи Мухтар, слуги сбились с ног, выполняя приказы хозяина, и едва Гамдулла подвёл Гарагёза – рысака известной во всем Ширване карабахской породы – уже в епанче и меховой папаче – он легко вскочил в седло.

– Бек, нам сопровождать вас?

– Прочь с дороги, сукин сын! – крикнул Гаджи Мухтар, огрев плетью его, то есть управляющего Гамдуллу, а затем и Гарагёза, ускакал прочь, но вскоре повернул назад, подлетел к воротам, резко потянул коня за узду.

Гарагёз поднялся на дыбы, Гаджи Мухтар-бек крикнул Гамдулле, спина которого все ещё горела от удара плетью:

– Найди этого врачевателя Салахаддина, позови от моего имени, пусть встретится с Махмуд-беком.

Вконец расстроенный Гамдулла, впервые почувствовавший на себе плеть Гаджи Мухтара, причём на глазах челяди, что уважительно называла его не иначе как «господином», не успел сказать ни слова, как Гарагёз снова рванулся, ускакал и вскоре исчез из виду вместе со своим седоком.

Солнце взошло, но после столь ясной ночи свод неба стал закрываться тучами.

В воздухе запахло снегом.

Гарагёз, словно почувствовав желание Гаджи Мухтар-бека любой ценой ускользнуть подальше, несся с той же стремительной страстью.

Гаджи Мухтар и сам не знал, куда он скачет в это морозное зимнее утро.

Его явно гнал дьявол, в седле Гарагёза он пытался бежать от дьявола...

Проснувшиеся в полдень Махмуд-бек, Молла Музаффар и Лал Гафароглу пообедали вместе с сыновьями, зятьями Гаджи Мухтар-бека.

Никто не знал, куда внезапно, причём один, без сопровождения, уехал Гаджи Мухтар.

– Бек был не в себе, – оправдывался Гамдулла. – Я не смог ничего спросить.

– Наверное, получил какую-то весть, была какая-то важная причина, что дядя уехал второпях, никому не сказавшись, и нас не считал нужным, не решил будить, – предположил Махмуд-бек. – Лишь бы всё было к добру!

– Дай тебе Бог! – сказал Молла Музаффар, проведя правой рукой по лицу, произнеся «салават» – молитву в честь Пророка.

Кое-как собравшись с силами, заставила себя подняться, пройти к гостям, поприветствовать их и Хури Бегим-ханым.

После той спокойной ночи днем пошёл сильный снег, и Махмуд-бек, обеспокоенный внезапным отъездом Гаджи Мухтара, тем не менее, как только начало смеркаться, не стал дожидаться хозяина, вместе с Моллой Музаффаром, Лал Гафароглу и сопровождающими их всадниками, попрощавшись с членами семьи Гаджи Мухтара, снова пустился в путь.

Все обитатели дома Гаджи Мухтар-бека во главе с не находящей себе места от неведения Хури Бегим-ханым, даже как бы забывшей на время о своих хворях, ждали хоть какой-то весточки от Гаджи Мухтара. Тревога опустилась на огромное поместье. Сыновья, зятья Гаджи разослали во все концы гонцов, да и сами проехали по местам, где мог, по их мнению, оказаться Гаджи Мухтар, но в ту зимнюю, заснеженную ночь никто не знал, где находится Гаджи Мухтар-бек...

...Почти превратившийся в снежный ком Гаджи Мухтар далеко за полночь вернулся в своё поместье, и, не сказав никому ни слова, поднялся в свою спальню.

Хури Бегим-ханым сидела в спальне в ожидании мужа, хорошо изучившая за сорок лет совместной жизни его характер, не стала о чём-то спрашивать, постанывая от боли в пояснице, заставила себя встать и лечь в постель, Гаджи Мухтар тоже не стал что-то объяснять, разделся, потушил светильник, и тотчас завалился спать.

11

... И в ту бессонную ночь, лёжа в темноте на своей кровати, князь Цицианов вдруг вспомнил Бабуа Арчила. Перед глазами вдруг возникло лицо Бабуа Арчила – усталые, улыбающиеся, голубые глаза, осунувшееся лицо, в морщинах лоб и щеки, длинные, подкрученные вверх, жёлтые от табака седые усы, и по всему его существу прошла волна удивления: гляди-ка, который год Бабуа Арчил ему не вспоминался, а тут, впервые с того дня, как оказался в этом сказочном мире, о котором рассказывал Бабуа Арчил, вспомнил.

Но мир этот оказался отнюдь не сказочным.

Бабуа Арчил ушёл в лучший мир, сидя у окна своего московского дома, мыс-

ленно глядя на горы Грузии, которых не видел пятьдесят лет, и у князя Цицианова, представляющего его, как и прежде, сидящим в кресле, родилось такое чувство, будто он отчего-то предал Бабуа.

Князь непроизвольно глянул вверх – в потолок, сказал:

– Здравствуй, Бабуа!.. Ты меня видишь?

В этой ночной тиши ему показалось, что голос его прозвучал слишком громко, он опасливо глянул на дверь: слышал ли его дежурный офицер? Впервые за годы армейской жизни он обеспокоился, что кто-то услышит его. Снова, в который раз за эту бессонную ночь, осерчал сам на себя: что за сантименты? Что за ребячество?

И в этот момент, снова впервые за многие-многие годы, ему привиделись те, в заспиртованной колбе, две головы, словно они шептали друг другу латинское: «Memento mori» – «Помни о смерти».

«Кажется, эта ночь враждебна мне», – подумал он, привстав, сел на краешек кровати. И вдруг в нём родилось желание: как было в далеком детстве, вбежать в спальню своей гувернантки мадам Женон, прижаться к ней, забыть обо всём, ничего не бояться.

Чего ты боишься, князь?

Одной из причин этой бессонной ночи было, наверное, и то – во всяком случае, вероятно это заставило его приподняться и в одной ночной рубашке присесть на краешек кровати, – что непроизвольно вспоминалось и что особенно беспокоило в последнее время: Бонапарт пойдёт войной на Россию, и это изнуряющее сознание беспокойство часто посещало его, прежде чем он засыпал; в темноте перед глазами вставала знаменитая треуголка Бонапарта, казалось, эта треуголка, как стервятник, хотела ворваться, разорвать карту Российской империи.

Рано или поздно Бонапарт объявит войну России – в этом князь нисколько не сомневался, если даже корсиканец обезопасит себя от Англии, окончательно поставит на колени Австрию, Пруссию, Италию, Испанию, изгонит Османов из Восточной Европы – Франции с Россией в тылу не стать страной-гегемоном, а Наполеону – самодержцем всего мира. Россия была преградой, камнем преткновения его ненасытным амбициям.

Какие бы обязательства ни брал на себя Наполеон, какие бы договора ни подписывал – рано или поздно он предпримет поход на Россию.

Но готова ли к этому Россия?

Кто поможет России? Никто.

Россия всегда была одинока и вечно будет одинока, потому что она по складу характера, внутренней природе чужда Европе, потому что внутри России, этой страны морозов и метелей, существует такое горение, такие простота и милосердие, чего никогда нет в Европе и, как убежден князь Цицианов, никогда не будет. Эти горение, простота и милосердие порой обращались в простодушие, приводили к отсутствию самооценки, слепому преклонению перед иностранцами, признанию заранее их превосходства, и эти качества всегда вызывали гнев князя Цицианова.

Разумеется, русский солдат – солдат не прусский или австрийский, он никогда не трясётся над жизнью, но и Бонапарт – генерал не ординарный, Цицианов ощутил, что в этой тёмной комнате по его лицу скользнула улыбка: подумать только! – они, то есть русские генералы, в том числе и князь Цицианов, могли стать коллегами Бонапарта. Дело в том, что когда Екатерина II нанесла поражение туркам, молодой Бонапарт прибыл в Петербург, желая поступить на службу в русскую армию – об этом

ему рассказывал знавший все новости раньше прочих, друг его юношеских лет – Николенька – граф Николай Тимофеев-Богоявленский. Один из талантливейших русских генералов – граф Тимофеев-Богоявленский, участник знаменитого перехода фельдмаршала Суворова через Альпы, к сожалению, который год из-за ранения позвоночника был прикован к постели. Это были те времена, когда несчастный Павел заключил с Англией, Турцией, Австрией и двумя сицилийскими королевствами союз против Франции.

Князь Цицианов не сомневался, что его величество император, несмотря на молодость, хорошо просчитывает создавшуюся ситуацию, но вокруг него столько скудоумных чинуш, не способных достойно оценить сложившееся положение. Выклянчить у императора очередной орден, заслужить его улыбку, пресмыкаясь перед ним, добиться званий – расплодившиеся во дворце чинуши этим только и жили.

Поэтому генералов, недостойных имени русского солдата, наверное, больше, нежели достойных, да и в Кавказской армии их немало. И князь Цицианов раз за разом отправлял подобных в отставку, часто несмотря на их весьма влиятельных и занимающих высокие посты покровителей. Что смогут противопоставить люди, ставшие генералами только благодаря протекции, французам – Мюрату, Нею, Ланну, Даву?¹

И в эту бессонную ночь князь принял решение – завтра же написать императору.

Впрочем, хватит об этом, следует спать, но чтобы уснуть, необходимо, чтобы тебя сморил сон, Цицианов улыбнулся самому себе: сон, к сожалению, на военной службе не состоит, сну не прикажешь.

Князь Цицианов всей душой презирал тех горе-генералов, чьих заслуг перед Россией было куда меньше, нежели орденов и медалей на груди, которыми они кичились друг перед другом, нисколько не скрывал своего презрения, оттого в генералитете было немало его недоброжелателей. Все полученные им награды – многочисленные ордена и медали – были ему дороги, свидетельствовали о реальных победах на конкретных полях сражений. Он гордился ими, но надевал парадный мундир только в особые, памятные дни, любил носить только учреждённую императором Александром, в честь взятия Гянджи, специально отлитую по его представлению из чистого серебра медаль, которую полагалось носить при походном мундире. 3700 таких медалей отправлены главнокомандующему, но на обратной их стороне были выгравированы следующие слова: «За труд и храбрость при взятии Гянджи», что вызвало гнев князя – ясно, что втиснутое слово «труд» было делом рук болванов, что просиживали штаны в Петербурге и украшали свои мундиры наградами за несуществующие «труды». В ту же ночь князь с особой реляцией вернул медали обратно, написав его величеству императору соответствующее письмо, с просьбой расплавить те медали и заново отлить 1560 экземпляров новых, на которых не было бы слова «труд» и чтобы ими награждались только те, кто непосредственно участвовал в осаде и взятии Гянджи, и чтобы средства после расплавки прежних медалей пошли на отливку колокола тифлисской церкви. Конечно, возвращение учреждённых, уже отлитых медалей было исключительной дерзостью, этот акт мог иметь серьезные последствия: уж доброхоты в Петербурге постарались бы! – но последнее слово было за императором, и его величество приняло предложение Цицианова.

В ту бессонную ночь князь Цицианов снова обратился мыслями к Бонапарту:

¹ Наполеоновские маршалы.

если тому удастся попрязать Россию – главнокомандующий даже мысленно не хотел произносить «нанесёт поражение России» – что, в таком случае, ожидает Южный Кавказ? Столько мук и жертв, столько пролитой крови, столько потраченных средств, постоянное напряжение сил, и всё – коту под хвост?!

Князь видел свою миссию в решении не чисто территориального вопроса, а в долге мирового значения – полного и безусловного вхождения Южного Кавказа в состав России, понимали это или нет сидящие в Петербурге чиновники, было ли отношение лично к нему доброжелательным или отрицательным, оценивали его деятельность положительно или напротив – всё это не имело для князя Цицианова ни смысла, ни значения, главное, чтобы была великая Российская империя, а останется ли через сто, двести лет в истории имя Павла Дмитриевича Цицианова – генерала от инфантерии – по существу, не имело смысла, ибо, если нет самого человека, увековечение его имени не имеет значения, потому что главней всего Родина.

Какая Родина?

Князь Цицианов и сам вздрогнул от этого вопроса.

Что за дурацкий вопрос?

Но князь Цицианов не из тех, что уходит от подобных вопросов, иногда необходимо отвечать и на дурацкие вопросы, чтоб всё было ясно и определённо.

Екатерина Великая – немка, кто являлся отцом несчастного Павла – известно одному Богу, есть ли в венах Александра хоть капля русской крови? – тоже тайна за семью печатями, и зная, что знали все, князь Цицианов не должен был скрывать и от самого себя эти тайны – главное, есть великая Россия, и эта великая Россия – его Родина.

Князь Цицианов любил Александра, этого молодого, умного, красивого, высококультурного императора, любил идущей от сердца любовью, и распорядился, чтоб во всех мечетях Грузии и Гянджи, и в целом на всех покорённых им территориях, во время намаза произносились молитвы в честь императора и его семьи. Он также распорядился, чтобы рескрипты – благодарственные письма, направленные ему императором, зачитывались во всех воинских частях, вне зависимости от того, где они дислоцировались, князь Цицианов гордился этими рескриптами.

Но он, генерал от инфантерии, князь Павел Дмитриевич Цицианов, служил не лично императору Александру, точно так же, как не служил лично незабвенной Екатерине – она называла его «мой генерал», не служил и несчастному Павлу, он всегда служил России, и думая об этом, ощущал внутреннюю гордость, всё, что он совершал с помощью своего меча, делалось от всего сердца, делалось с любовью, ради интересов Российской империи, он только исполнял свой долг – долг русского офицера. Он не нашёл времени, возможности жениться, обрести семью, все его мысли и пристрастия сконцентрировались в высоком, державном мече, что он прочно удерживал в руке.

Вот потому-то, князь, в эти свои немалые годы ты остался бобылём! Большая часть жизни прожита, сколько осталось до конца?

«Memento mori...»

В любом случае, если смерть неизбежна, неминуема, какая разница, одинок ты или обременён семьёй, кто ты и что ты? Кто знает смысл всего этого? Никто! И никогда и никто не узнает: ворота, затворившие божественные тайны, смертному не открыть.

Достаточно, князь! Теперь ты уже становишься философом-богословом?

Князь Цицианов был русским офицером, личная жизнь, национальные корни в сравнении с честью русского офицера не имели для него никакого значения.

Так-то оно так... но порой... особенно в последнее время... издалека, из самой глубины его души, доносился слабый, бессильный зов, и та отдалённость, та глубина словно были глубинностью веков, ослабевший, истончившийся зов доносился, совравшись из дальней-дальности веков.

И подобный зов не нравился князю Цицианову.

К какому роду, племени принадлежал Иисус Христос, кто он был по национальности, имеет ли это значение хотя бы для одного из миллионов поклоняющихся ему? Нисколько!

Почему ты думаешь, что накануне ухода в лучший мир сидящему у окна своего московского дома Бабуа Арчилу виделись горы Грузии? Что за выдумки? Что за дешёвая и идиотская романтика? А может, в те последние мгновения Бабуа вспоминал своих бывших любовниц – московских красавиц. Разве этого не могло быть?

И в темноте своей спальни он непроизвольно глянул в потолок, и ему привиделось, словно оттуда, сверху, улыбаясь всегдашней доброй улыбкой, Бабуа говорит с гортанным грузинским акцентом: «Иисус – был сыном Создателя, а твой отец и мой друг Дмитрий – сыном Пааты».

Хватит!

Достаточно, возьми себя в руки, князь.

Но откуда это пришло?

Этот хриплый, дрожащий голос донёсся из преисподней?

Это был голос разбойника Емельки: «Прости мои грехи, о православный народ!..»

Всё существо князя охватила ярость: теперь этот сатанинский пёс – Емелька – даёт ему уроки совестливости? Да, князь Цицианов привёл Великую Россию на Кавказ на штыках, но придёт время, Кавказ узнает и другую Россию, и эта, другая Россия обеспечит краю мир и стабильность, откроет школы, театры, станет издавать газеты и журналы, и та Россия будет не Россией пули и штыка, а Россией пера.

Но...что сможет сделать на Кавказе эта Россия пера? Кавказ может взорвать Россию изнутри, кавказцы, держа в одной руке перо, в другой – кинжал, могут устроить такую бучу, что все эти мараты, робеспьеры, дантоны окажутся присказкой, кавказцы придут и возглавят Россию, как в таком случае сложится судьба державы? Они будут уничтожать друг друга, а в России один из них станет неким Наполеоном.

В это время князю вспомнился палач Сансон¹, отрубивший сотни голов, в том числе и голову Дантона, – книгу мемуаров палача, изданную несколько лет назад в Париже, он прочёл, будучи в Петербурге. Сансон нисколько не тяготился своей профессией. Этот известный палач сначала орудовал топором, затем, после изобретения гильотины, казнил с её помощью, в своей книге он описывал, как вели себя его жертвы, что они говорили на смертном одре. И в эту бессонную ночь князь Цицианов вспомнил то, что сказал палачу в последние свои мгновения Дантон: «Не забудь поднять и показать мою голову толпе, подобные головы доводится видеть не часто».

Князь Цицианов резко потрянул головой, словно хотел отогнать и выбросить из головы чёрные, как эта комната, мысли, и тут ему внезапно вспомнилось, что Бабуа Арчил заставлял его вызубрить какое-то слово...

¹ Казнивший в общей сложности 2918 человек, Шарль Анри Сансон был наследственным палачом. Его воспоминания были изданы, но впоследствии стало известно, что воспоминания писал не он, а Бальзак.

Что это было за слово? Что оно означало?

И в тот же миг Бабуа Арчил возник перед его глазами: «Паата, повтори!»

Что? Что означало это слово?

«Повтори!..»

«Повтори ещё раз!..»

«Скажи громче!..»

«Говори смелей!..»

За прошедшие долгие годы то слово выпало из сознания Цицианова, и после стольких лет в эту ночную пору он не стал насиловать свою память.

Князь пошарил рукой по тумбочке, нашёл, зазвонил в маленький колокольчик.

Казалось, ординарец стоял за порогом, он тотчас вошёл в спальню.

– Слушаю, ваше сиятельство!

То, что ординарец столь мгновенно вошёл в комнату, отчего-то не понравилось Цицианову, и он сказал рассерженно:

– Принесите мне воды.

Казалось, и теперь не прошло и секунды, как офицер вернулся и протянул ему чашку с водой.

Свет нефтяного светильника из приоткрытой двери примыкающей к спальне комнаты лишь очерчивал фигуру офицера, он не видел его лица, тот стоял, ожидая возврата чашки, это тоже раздражало главнокомандующего, и отчего-то вдруг он вспомнил – поистине эта ночь – ночь воспоминаний – майора Лисаневича: узкие серые глаза этого талантливого офицера, назначенного командиром гарнизона Шуши, словно были в тревоге, будто он всё время находился в засаде, за кем-то следил, постоянно высматривал свою жертву.

– Можете идти! – сказал князь Цицианов.

Ординарец вышел из комнаты.

Что это было за слово?

Князь сделал несколько глотков, поставил чашку на тумбочку.

Видимо, одиночество, отсутствие семьи, детей, на самом деле противоречат законам природы, и с возрастом эти противоречия начинают сказываться, но теперь это уже от тебя не зависит.

И князь Цицианов в этой темноте, словно в отражении зеркала, ясно увидел ту горестно-саркастическую улыбку, что осела на губах, и это ещё больше обескуражило его.

Но если ты толкуешь о законах природы, то Создатель не забыл тебя, в этом мире станут жить твои внуки, правнуки, праправнуки, правда, они не будут ничего знать о тебе, ну и что? – не эгоизм породил законы природы, и ты, князь, не соотноси законы природы со своим эго – твои наследники не будут знать тебя, но в их венах будет кипеть твоя кровь, и они станут служить родине так, как служили их отец и дед.

Погоди, генерал! Что это, отчего ты пытаешься столь убого утешать себя?

Да, речь идёт не о твоих, а маркиза Жерара де-Лафонжена потомках. На какой родине они будут жить, какой отчизне станут служить, князь?

Мишель...

Полученное им некоторое время назад нежданное письмо Натальи Аркадьевны де-Лафонжен, казалось, оставшейся в недостижимом, непроглядном прошлом, взорвалось в душе князя Цицианова, будто снаряд.

В жизни князя, разумеется, было немало женщин, но самой чистой, с трепет-

ной душой была Натали – маркиза де-Лафонжен. Тифлис, и в целом Кавказ, конечно же, не Петербург, Москва или же Варшава, но и здесь у князя Цицианова завязывались какие-то тайные романы. Однако ни один из них не оставлял в его жизни следа, эти романы, по сути, их и романами назвать нельзя, были естественной потребностью организма – такой, как утоление жажды или голода. Герои петербургских аристократических салонов постоянно жили в поиске любовных интрижек, приключений, в свою очередь, их верные жёны наставляли им рога, но Натали... Натали была совершенно другой, она напоминала белых и нежных бабочек, которых он ловил сачком в детские годы в подмосковных садах, казалось, всё существо Натали такое же хрупкое и незапятнанное, как белые крылышки бабочек. Натали была одной из прелестных и несчастных девушек аристократического общества Петербурга. Она построила семью не по любви, её выдали замуж по расчёту: маркиз Жерар де-Лафонжен являлся представителем древнего и состоятельного французского рода, это родство повышало значимость и вес её отца – графа Аркадия Разумовского – в глазах двора и общества.

Но если Создатель создал её столь чистой и прекрасной, имела ли она право хоть раз в жизни полюбить? И Всевышний одарил её такой любовью. Натали всей душой полюбила его – командира Санкт-Петербургского гренадёрского полка, князя Цицианова. Для неё, для Натали, это была греховная страсть, приносила ей душевные муки, она не совладала с этими страданиями, и они расстались.

Князь, конечно же, сжёг её письмо, но помнил его наизусть.

* * *

ОН ничего не ощущал: ни боли, ни голода, ни жажды, ни тревоги, ни заботы. И это словно делало ЕГО бесплотную и невесомую субстанцию ещё более умиротворённой и свободной.

Но это приводящее в изумление, постепенно углубляющееся сожаление никак не согласовывалось с этой умиротворённостью и свободой, и что бы ни проносилось сквозь ЕГО окончательно пробудившуюся память, что бы ОН ни видел в том видимом измерении – это изумление и сожаление обращались в некое чувство бессмысленности, и уводили ЕГО в бесконечную неведомость вопроса – «почему?»

(Окончание следует)

К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАЗЫМА ХИКМЕТА

АЙТЕН АКШИН

ГОЛОС СОЛНЦА

С именем Назыма Хикмета я, можно сказать, выросла. Не только потому, что родители мои филологи, а отец посвятил себя еще с молодости исследованию творчества турецкого поэта и знал его лично. Но больше всего потому, что, обладая феноменальной памятью и цитируя наизусть классическую восточную поэзию, зная и все поэтическое наследие Назыма Хикмета как свои пять пальцев, он все же предпочитал и предпочитает слушать стихи турецкого поэта в его собственном исполнении.

Помню домашний старенький магнитофон, мягкий шелест ленты и ужас, охватывающий всех членов семьи, если она заедала. Помню особенность момента и ожидание, вознагражденное тем, что потом, словно откуда-то сверху, падал голос, разрезая ножом тишину комнаты. Отец тогда много курил и тяжело мерил шагами маленькую комнату. Боль утраты Назыма Хикмета для него, ныне известного в Азербайджане и в Турции назымоведа, была слишком еще свежа.

А я всего этого еще не знала, просто слушала голос на пленке, про который взрослые говорили, что он – великий. Однажды детским пальчикам даже доверили старый приглашительны, с которого смотрел улыбчивый мужчина с открытым лицом. Светлые глаза и разбегающиеся от уголков этих глаз лучиками морщинки. Такими, наверное, бывают глаза у тех, кто много смеется и любит смотреть на солнце. Мне повторили его имя. Выучила быстро. Оно было легким. Запоминающимся. Как и его стихи.

Магнитофон был катушечным, двухдорожечным, с шелестящей магнитной лентой, которой было целых 245 метров. Поэтому можно было ровно 45 минут сидеть рядом и, затаив дыхание, зачарованно смотреть на то, как слаженно работают две пластмассовые катушки. Одна из них без устали подавала ленту в специальное отверстие. Другая эту же самую ленту так же проворно и деловито принимала. У обеих пластмассовых хрупких барышень было еще одно смешное название: бобина. Поэтому магнитофон воспринимался, как мифическое существо с двумя женскими головами. Лента шелестела.

И если я не пыталась, даже из самых лучших побуждений, потрогать ее указательным пальчиком, то мне разрешалось сидеть совсем рядом с магнитофоном. А если не задавала на одном дыхании, не дожидаясь ответов, бесчисленное множество вопросов, не ерзала и не крутилась от нетерпения, то можно было незаметно для взрослых продвинуться еще ближе. Правда, самую малость, но именно ту, что гарантировала непосредственное участие в таинстве, которое вот-вот должно было произойти.

Мягкий шелест переходил в шипящий звук, слышался характерный треск. От напряжения, конечно же, хотелось снова продвинуть пальцем ленту вперед, но вместо этого демонстративно сжимала кулачки, а потом и вовсе прятала руки за спину. Правда, все эти мои старания уже оставались незамеченными, потому что собравшиеся с сосредоточенными лицами вокруг редкостного магнитофона, который производился лишь четыре года и уже успел стать антиквариатом, тоже были в напряженном ожидании.

Бобины продолжали усердно поскрипывать, и наконец магнитная лента начинала воспроизводить уже ставший знакомым голос.

***Su başında durmuşuz çınarla ben.
Suda suretimiz çıkıyor çınarla benim.
Suyun şavkı vuruyor bize, çınarla bana.
Su başında durmuşuz çınarla ben, bir de kedi.
Suda suretimiz çıkıyor çınarla benim bir de kedinin.
Suyun şavkı vuruyor bize, çınara, bana, bir de kediye.***

Голос наполнял собой комнату. В нем слышались шум воды под искрящимися солнечными лучами и непонятные пока еще слова. Понравилось одно. Подхватила его, вытянула, как редкостный цветок из охапки полевых цветов. Попробовала на слух, произнесла шепотом. Еле слышно. Потом, когда прослушивание всей ленты было завершено, неожиданно громко и отчетливо проговорила его в получившуюся паузу. Взрослые засмеялись, шуточно зааплодировали, подхватили с дивана игрушечного котенка и торжественно вручили его мне. Я выучила свое первое слово на турецком. Им стало слово «кошка». Дворовые кошки, правда, разочаровали меня потом: с интересом обнюхав мои пальцы, остались абсолютно равнодушными к тому, что вместо «киса» их стали теперь звать «кеди».

Спрятавшийся в мягком шелесте ленты магнитофона голос с двумя крутящимися пластмассовыми глазами жил в отцовской домашней библиотеке. Отец каждый вечер бережно доставал магнитофон, ставил его на журнальный столик и включал. Бобины начинали свой привычный ход. Голос наполнял собой комнату. В нем снова слышался шум воды, шелест покачивающихся в вышине зеленых ветвей могучего дерева, довольное урчание котика и было много, очень много солнечного света.

***Su başında durmuşuz çınar, ben, kedi, bir de güneş.
Suda suretimiz çıkıyor,
çınarın, benim, kedinin, bir de güneşin.
Suyun şavkı vuruyor bize,
çınara, bana, kediye, bir de güneşe.***

Таинство постепенно перешло в ритуал. Я росла вместе с голосом, который слушала каждый вечер. Антиквариат, правда, начал стареть. Иногда заедала лента. Тогда его поспешно выключали. Пластмассовые барышни-бобины бережно снимались. Вручную перематывалась лента. С замиранием сердца потом все ждали того момента, когда катушка выпустит помятый кусочек ленты. Дружно качали головой на слегка искаженный звук и так же дружно успокаивали друг друга, что лента все же не порвалась, что запись сохранилась, даже если с одним плавающим звуком.

Со временем желание прилипнуть к магнитофону у меня совсем пропало. От дедушки-антиквариата держалась уже на почтительном расстоянии, веря в то, что этим пресекала его желание задумчиво жевать драгоценную ленту.

Только голос не старел, не уставал рассказывать. Постепенно я научилась разбираться в палитре его смысловых оттенков, слышать шелест покачивающихся в вышине зеленых листочков, зачарованно смотреть на блики солнца на воде и даже жмуриться от яркого солнечного света. Не понимала пока лишь одного, почему каждый раз, прослушав все то, что рассказывал голос, так тяжело начинал мерить шагами комнату отец...

Когда родители уезжали в Турцию, отец уже защитил кандидатскую диссертацию, посвященную драматургии Назыма Хикмета. Слово «диссертация» и имя поэта – Назым Хикмет – были настолько обиходными в семье, что прочно вошли и в мой детский словарный запас. О Турции я тоже знала лишь то, что еду на родину того самого великого поэта, чей голос живет в отцовской библиотеке и чью фотографию мне иногда разрешают рассматривать.

Было это в 1971 году. Назым Хикмет умер в 1963 году, но на его родине имя его все еще было под запретом. Официально запрет был снят в 1965 году, когда турецкая рабочая партия (Türk İşçi Partisi) смогла получить места в парламенте. Но конец 1960-х годов в Турции прошел в атмосфере фактически непрекращающегося силового противостояния леворадикальных движений студентов и рабочих с идеологами националистического исламизма и общественных группировок, поддерживающих культурно-нравственные ценности кемализма. Ситуация в стране обострялась, уличные волнения, забастовки и демонстрации приобрели массовый характер. Внутриполитический и экономический кризис привел в 1971 году к военному перевороту («меморандумный переворот»). И произносить в этой ситуации имя Назыма Хикмета, который долгие годы в Турции ассоциировался с коммунизмом и СССР, было не просто нельзя, но и смертельно опасно. Правда, запрет этот как-то не удерживался в детской памяти. Может, еще и потому, что в посольской школе, где я училась, слишком много было своих запретов.

Школьный инструктаж для детей советских специалистов, направленных в Турцию по линии «Тяжпромэкспорта» в начале 70-х годов, тоже включал в себя целый список запретов, которые я, сама того не желая, умудрялась все время нарушать. Один из них запомнился особенно: вне возрастных исключений ни под каким видом не общаться с местным населением. Запрет этот лично мне пришлось нарушить с первого же дня и не без помощи тех, кто следил за тем, чтобы они соблюдались. Наверное, поэтому отношение мое к запретам еще с детства получилось каким-то несерьезным.

Школа наша располагалась на первом этаже одного из жилых домов небольшого поселка, неподалеку от строящегося металлургического завода, где жили советские специалисты. Перед ней была маленькая детская площадка, прямо за которой виднелась одна из возвышенностей горного хребта Нур (Амасон). Справа стояли две такие же четырехэтажные жилые постройки, в одной из которых жили мы.

Если бежать из школы домой не через детскую площадку, то можно было в два прыжка очутиться лицом к лицу с третьей точкой моего ежедневного маршрута – местным магазинчиком «Дэчко». Здесь отоваривались как семьи работавших на заводе турецких специалистов, так и семьи советских специалистов, которым под угрозой высылки из страны строго-настрога запрещалось без разрешения и вне группы с минимальным составом в три человека покидать поселок. Окружавших наши дома высоких стен, как вокруг советского посольства в Анкаре, не было, так как сам поселок был достаточно отрезан не только от столичного посольства, но и от находящегося поблизости небольшого тогда города Искендерун. Своеобразной границей, разделяющей дома советских и местных специалистов в поселке был магазинчик «Дэчко».

В детстве все кажется большим. Все намного большим, чем имеет место на самом деле. Четырехэтажные жилые постройки и маленький магазинчик казались мне тогда не менее монументальными, чем возвышающаяся напротив школы гора, и запомнившийся на всю жизнь вид на нее с балкона третьего этажа квартиры, в которой мы тогда жили.

Свободы передвижения в маленьком поселке было предостаточно и кружковых внешкольных занятий, на которые – все без исключения – я тут же сама себя записала, тоже. Был бассейн, небольшое клубное здание и убегающая вниз к побережью Средиземного моря дорожка. А так как в детстве все равно веселее в составе группы с минимальной численностью в три человека, то носилась я в этой самой группе, не ощущая особо стеснения моей детской свободы.

Выходя из школьного здания, я предварительно сдирала с груди октябрятский значок и прятала в портфель, позже то же самое проделывала с пионерским галстуком. Это была повседневная рутина. Та, над которой в семь лет вообще не задумываешься. Та, над которой чуть позже стала задумываться, но несмотря на бессмысленность самой процедуры, все равно следовала ей, хотя бы ради того, чтобы не увеличивать списка уже нарушенных правил. Толком не понимая того, от кого и зачем все это нужно прятать в малонаселенном поселке, где все «свои», проделывала это скорее механически, потом, к недовольству учителей, вместе с атрибутами коммунистического воспитания подрастающего поколения заодно сдирала с себя еще что-нибудь – жакет, ленту с непослушных волос, одним словом, все то, что мешало с гиком выскочить на улицу из школьного здания, не обращая внимания на безнадежный окрик учи-

тельницы: «Ты же девочка! Нельзя так скакать по улице!»

Дорога из дома в здание школы занимала вприпрыжку пару минут и чуть дольше, если скакать на одной ноге. Но обратная дорога чуть ли не с первых же дней получалась у меня все длиннее и длиннее. А все потому, что, завидев меня, выскочившую из школьного здания с деловито перекинутым на одно плечо портфелем и незамедлительно поджимавшую одну ногу, как цапля, готовясь к очередному рекорду по прыжкам на одной ноге из школы домой, сидевшие зачастую на улице рядом с выставленным из магазинчика товаром продавцы «Дэчко», уже знавшие, что я дочь тех самых новоприбывших азербайджанцев-специалистов из Баку, наиграно начинали махать руками, радостно скалили зубы и надрывно выкрикивали то, что я принимала за чистую монету: «Вот она! Наша маленькая переводчица! Иди сюда немедленно! Мы тут без тебя пропадем!»

И, вопреки выговаривавшемуся каждый день в классе, где нас всего-то было семеро учеников, я быстро снимала с плеча портфель и уже не на одной, а со всех ног неслась к маленькому магазинчику, к «пропадавшим» без меня взрослым дяденькам и облегченно вздыхавшим при виде меня озадаченным тетенькам, женам советских специалистов – металлургов, которые к тому моменту находились на пике собственных возможностей по объяснению жестикуляцией с местными продавцами.

Сегодня, правда, мне все больше кажется, что весь этот театр с «непониманием» жестов экзотичных для сонного поселения советских специалистов был лишь невинным развлечением продавцов «Дэчко».

Больше всего сдружились мы с одним грузным продавцом, который был здесь старшим. Именно с его легкой руки все в поселке и стали называть меня «маленькой переводчицей». Дядя-продавец всегда щедро угощал меня сладостями и еще любил вести со мной длинные беседы, суть которых сводилась к тому, что мой родной язык и есть турецкий, и потому мне вполне достаточно говорить лишь на нем. Треская сладости, я внимательно выслушивала его каждый раз, а когда он уставал и садился на свой стульчик за перегородкой и начинал обмахивать белым передником свое покрасневшее лицо, слово в слово повторяла то, что ответила ему на эту его «агитацию» во время нашей самой первой беседы. То, что вызвало у него тогда бурю восторга, и продолжало веселить. Тогда, не задумываясь, с чисто детской непосредственностью я выпалила, что если я, как и он, буду знать только один язык, то тогда он точно никому не сможет продать свой товар.

Каждый раз в ожидании того момента, когда он сядет на свой стул, а я повторю свой аргумент в пользу изучения нескольких языков, в магазинчике все затихало. Потом, с последним моим словом, весь «Дэчко» взрывался дружным хохотом. Громче и дольше всех довольно хохотал дяденька-продавец, поддерживая руками свой колыхающийся живот. Успокоившись, проводил по седой бороде ладонью, выдыхал, качая головой, воздух сквозь густые усы и бормотал что-то неразборчивое вполголоса, словно подытоживая нечто то ли для себя, то ли для невидимого представителя самого лукавого, то ли еще для кого-то, такого же всесильного, как лукавый, и такого же невидимого. Из этого бормотания различалось лишь одно: «...ах, шайтан-шайтан...». Потом подходил к стойке, запускал руку в огромный стеклянный баллон с конфетами, вытягивал сладости в разноцветной блестящей упаковке и протягивал мне.

Мне нравился магазинчик, нравилось систематически нарушать школьный запрет, нравился дяденька-продавец. Нравилось быть маленькой переводчицей и каждый раз получать сладости за работу и правильный ответ.

И все было просто замечательно до того самого дня.

А день был самый обычный. Я выскочила из школы и, подгоняемая выкриками продавцов, со всех ног бросилась в «Дэчко». Выслушав привычные разглагольствования дяденьки-продавца, уже приготовилась к тому, чтобы выпалить привычный аргумент, но направившийся было к своему стульчику продавец вдруг остановился на полдороге, развернулся ко мне и неожиданно задал вопрос, к которому я совсем не была готова:

– А что ты вообще знаешь о Турции?

Все с той же детской непосредственностью, не задумываясь ни на секунду, я с нескрываемой гордостью выкрикнула на весь магазинчик то самое дорогое имя, с чьим голосом вы-

росла:

– Назым Хикмет!

В магазинчике наступила гробовая тишина. Только мухи жужжали вокруг больших стеклянных баллонов со сладостями.

Я тут же поняла, что сказала что-то не то. Но что именно?

– Он – предатель.

Это сказал старик.

Он сказал это глухим голосом, но достаточно отчетливо. Отвернув от меня впервые за то время, что мы друг друга знали, глаза. Глядя куда-то в сторону, словно обращаясь не ко мне и не к находившимся в магазинчике другим продавцам, а словно к кому-то еще, невидимому, кто находился то ли здесь - в магазинчике, то ли там - на улице.

Потом он как-то странно сгорбился. Тяжело зашагал в сторону перегородки, а потом совсем ушел в подсобное помещение.

– Неправда! Неправда!

Это уже выкрикнула я, потому что взбалмошная была и упрямая. И еще потому, что голос на пленке из отцовской библиотеки, с которым я выросла, не мог быть голосом предателя.

Обиделась я на дядю-продавца. Долго потом, в детском понимании того, что может быть долго, отказывалась заходить в магазинчик. Этот эпизод остался в памяти. Мы потом помирились с дядей-продавцом. Мне надо было покупать хлеб, за которым меня отправляли вечно занятые родители: отец был главой группы переводчиков и целыми днями пропадал на заводе, мама переводила в больнице. Ну, а дядя-продавец все равно, так или иначе, должен был продавать свой товар нам – советским.

По молчаливой договоренности мы заключили натянутый мир, я продолжала забегать в магазинчик «Дэчко» и исполнять роль его «маленькой переводчицы». Только сладостей из рук дяди-продавца больше не брала, да и он, честно говоря, особенно и не предлагал.

Между нами встала стена.

Она называлась – Назым Хикмет.

***Su başında durmuşuz,
çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz.
Suda suretimiz çıkıyor,
çınarın, benim, kedinin, güneşin, bir de ömrümüzün.
Suyun şavkı vuruyor bize,
çınara, bana, kediyeye, güneşe, bir de ömrümüze.***

Годы обучения в аспирантуре совпали у меня с перестроечными настроениями в советской стране. В это время мы горячо спорили на лекциях и зачитывались философскими трактатами Канта, Ницше, Ясперса, Фрейда, которых в конце 80-х годов вдруг начали переиздавать без жестких цензурных ножниц. И хотя всем уже нужно было определяться с темой диссертации, пока лишь дружно наслаждались тем, что можем вслух интерпретировать прочитанное сами, без привычных в годы учебы в университете подсказок и смысловых акцентов вождей пролетариата.

– О философском мировоззрении Назыма Хикмета научной работы пока еще нет.

На эту реплику отца, посвятившего всю жизнь исследованию творческого наследия поэта, я, насколько это можно было мягко, протянула:

– Но он... поэт.

Специализируясь в аспирантуре по истории философии, диссертацию свою, конечно же, собиралась писать не а поэте, а точно о философе, оставившем хотя бы несколько научно-философских трактатов. Поэтому натянуто улыбнулась и попыталась закрыться от последующего обсуждения сборником философских трудов немецких ученых XIX века, который только

что выпустило Издательство политической литературы.

Отец не стал возражать, а просто протянул мне томик со стихами Назыма Хикмета. Это был второй том первого собрания сочинений на турецком языке, изданный под редакцией и усилиями незабвенного Акпера Бабаева. Одна из книг восьмитомника поэта, занимавшая почетное место в отцовской библиотеке. Чтобы не обижать отца, я наугад открыла книгу. У нас была такая ежедневная вечерняя игра: мы наугад открывали какую-нибудь книгу из его библиотеки и читали первую попавшуюся на глаза строчку. Это было наше шуточное гадание, предрекающее будущее в стране со стойкой уверенностью в завтрашнем дне.

Я открыла наугад книгу со стихами Назыма Хикмета. Выпала мне строчка из стихотворения *Masalların Masalı* – «Сказка сказок», из того самого, что слушала каждый вечер в детстве.

Отец заставил меня прочитывать все стихотворение вслух.

Прочитала.

Он помолчал и сказал:

– Если в этом стихотворении нет философии, то ее нет нигде...

***Su başında durmuşuz.
Önce kedi gidecek kaybolacak suda sureti.
Sonra ben gideceğim kaybolacak suda suretim.
Sonra çınar gidecek kaybolacak suda sureti.
Sonra su gidecek güneş kalacak, sonra o da gidecek.***

***Su başında durmuşuz,
çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz.
Su serin, çınar ulu, ben şiir yazıyorum, kedi uyukluyor,
güneş sıcak, çok şükür yaşıyoruz.
Suyun şavkı vuruyor bize,
çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze...***

***Стоим над водой –
солнце, кошка, чинара, я и наша судьба.
Вода прохладная,
чинара высокая,
я стихи сочиняю,
кошка дремлет,
солнце греет.
Слава Богу, живем!
Блеск воды бьет нам в лица –
солнцу, кошке, чинаре, мне и нашей судьбе...***

(перевод Музы Павловой)

Эту последнюю строфу «Сказки сказок» – стихотворения, которое Назым Хикмет написал в 1958 году, спустя двадцать лет сценарист Л. Петрушевская включит в заявку на мультфильм известного режиссера анимационного кино, народного артиста РФ Юрия Норштейна. Позже на одном из своих творческих вечеров, возвращаясь к работе над фильмом, Ю. Норштейн вдруг прервет свои объяснения того, чего именно, каких звуков, каких запахов ему не хватало в том, чтобы донести идею фильма («попробуйте описать запах моря...»), и начнет просто наизусть читать стихотворение Назыма Хикмета.

Премьера мультфильма состоится 13 января 1979 года. О самом фильме, который станет «лучшим анимационным фильмом всех времен и народов» (1984), режиссер много лет спу-

стя скажет, что хотел в нем соединить все то, что запомнилось ему в день Победы 1945-го года, на поэтических вечерах начала 60-х годов и все то, что происходило затем в 70-е годы. Пояснит, что фильм его собирался именно из этих «слоев». О названии: что «Сказка сказок» – это название стихотворения Назыма Хикмета, которое он любил с того самого момента, когда впервые услышал его в 1962 году.

В день Победы Юрию Норштейну не было еще полных четырех лет, а когда он впервые услышал стихотворение «Сказка сказок», шел ему двадцать первый год. У Назыма Хикмета в 1962 году в запасе оставался всего лишь один год жизни.

Название фильма «Сказка сказок» было рабочим. Однако Госкино не приняло название уже готового мультфильма – «Придет серенький волчок» – и утвердило его старое название. Со слов Норштейна, спустя много лет, когда на одном из просмотров в Доме кино к нему подошла и представилась последняя супруга Назыма Хикмета Вера Тулякова, первой его реакцией был стыд за нарушение авторских прав. Он даже сказал вдове поэта, что она может ведь на него и в суд подать. Однако на это восклицание режиссера вдова Назыма Хикмета сказала, что после просмотра фильма никаких вопросов по этому поводу у нее не осталось.

Кроме названия, фильм и стихотворение, на первый взгляд, мало что объединяет. Но стихотворение написано поэтом, совершившим революцию в поэзии, а фильм – режиссером, совершившим революцию в мультипликации. С этих позиций обе «Сказки», прежде всего, произведения двух новаторов, один из которых, отказавшись от традиционных канонов салонной поэзии, завершил начатый другими известными турецкими поэтами процесс возвращения исконно турецкого языка в письменную литературу и ввел в турецкую поэзию политический язык и верлибр, а другой с помощью многоярусного устройства авторской конструкции создал в кадре эффект трехмерного изображения и свой неповторимый стиль.

Известно, что Назым Хикмет писал картины, а заключенных вместе с ним в тюрьму учил не только грамоте и французскому языку, но еще и основам художественного мастерства. Юрия Норштейна рисование тоже притягивало с детства, он хотел посвятить себя изобразительному искусству и начинал как художник-мультипликатор. Но и поэт, и режиссер в душе так и остались художниками: один – слова, другой – кадра.

Болевой порог у каждого свой. и исповедь о нем – тоже своя. Для художника Назыма Хикмета – это тюрьма, одиночная камера, безответная любовь к родине и угроза очередной мировой, теперь уже ядерной войны. Для художника Юрия Норштейна – это голодное, выпавшее на военные годы детство, сиротство, как лицо времени, одиночество, как печать утраты истинных смыслов и вневременных ценностей.

«Сказка сказок» Назыма Хикмета и «Сказка сказок» Юрия Норштейна в целом относятся к той категории произведений литературы и искусства, о которых можно говорить бесконечно долго. Вероятно, еще и потому, что оба произведения очень личные, и в то же время сильно затрагивают, беря за внутренние струны души каждого, кто соприкоснется с ними. Подобное индивидуальное восприятие создает ощущение единения с произведениями, своего рода сопричастности к прочувствованному в строках, поразившему в кадрах. Опыт индивидуально прожитого читателем и зрителем порождает и свое, единственное понимание обеих «Сказок». В этом заключается их особенная и неповторимая сила. Этими психологическими особенностями восприятия «Сказок» объясняется и то, что зачастую отзывы почитателей Назыма Хикмета и зрителей Юрия Норштейна совпадают в одном откровении: как будто это я сам все так пережил... Подобные откровения продиктованы еще и желанием передать всю полноту испытанного, желанием подчеркнуть собственную сопричастность к тому, что так откровенно поведали нам авторы «Сказок», передать то самое ощущение единства, позволившее на короткое время соприкоснуться с пронзительной исповедью, просто и безыскусно рассказанной поэтом-художником и скупыми штрихами сложнейших с технической точки зрения картин, показанных режиссером-художником.

Как-то на одной из встреч, прежде чем прочитать своей аудитории стихотворение Назыма Хикмета «Сказка сказок», Юрий Норштейн отметил: «Я думаю, вам будет понятно, какая часть поэзии попадала в этот фильм...».

«Сказка сказок» Назыма Хикмета – это гимн жизни, воспевание любви к ней через уме-

ние любить ее в простоте и обыденности ее проявлений, через призму той самой ценностной ориентации личности, которую затем, почти два десятилетия спустя, немецкий социолог и философ Эрих Фромм определит как два способа существования человека в мире («Иметь или Быть»). Человек с ориентацией на «быть», а не на «иметь», тот, кто дорожит мгновением, умеет жить, любить, мечтать и оберегать жизнь в ее скоротечности – таков человек в мире Назыма Хикмета, его поэтическое «я».

Пронзительность «Сказки Сказок» в ее простоте. Доступность в том, как прозвучал в ней один из самых сложнейших философских вопросов: что есть жизнь. Конфликт разума, вторгшегося в тайны мироздания, поставившего под сомнение его божественное происхождение и поднявшего тем самым проблему смерти и страха перед ней, и власти, появившейся у человека благодаря техническому прогрессу, власти, способной разрушить мир до того, как он решит свою проблему страха перед естественной смертью. Этот конфликт поэт выразит днем раньше в десяти строчках стихотворения «Стронций-90» (6 марта 1958 г., Варшава), в котором передаст позорную обыденность происходящей трагедии – выпадения в окружающую среду при ядерных взрывах и выбросах с АЭС радиоактивного нуклида химического элемента стронция с атомным номером 38 и массовым числом 90. А на следующий день он напишет «Сказку сказок».

Угроза ядерной войны присутствует и в «Сказке» Назыма Хикмета, только она между строк, в ритме повторения, в суживающемся времени. Поэт, который ввел в турецкую поэзию политический язык, неожиданно, без всякой идейной подоплеки, почти с суфийским пониманием и любовью ко всему тому, что есть жизнь и дано в «форме живущего», определит счастье жизни самой жизнью. «Бытийность», как вечность, «небытийность», как неизбежность, относительность всего того, что отражается в воде – жить стоит во имя жизни. Но и в относительности, которая определяет очередность ухода всего и каждого, и в самом уходе тоже есть счастье: в период холодной войны оно еще и в естественности неизбежного. И потому любовь к жизни все равно сильнее, чем печаль о ее скоротечности. Тем пронзительнее возврат в последних строчках стихотворения на исходные позиции с умением видеть, слышать, чувствовать, отражаться, с благодарностью и за то, что живем, и за то, что то, что может случиться, пока еще не произошло, который поражает, потрясает, заставляет задуматься.

«Сказка сказок» Назыма Хикмета – это еще одна из его многочисленных формул счастья и жизни, о которых он писал всю свою жизнь. Кардинальные, мучительные для него вопросы вновь прозвучали и в этом стихотворении, но пьеса «Дамоклов меч» еще не написана, хотя сам меч уже незримо висит над тем самым миром, в котором высится его чинара, все еще спит котик у воды, солнце пока греет, и он может писать стихи.

«Сказка сказок» Юрия Норштейна – это гимн миру.

Одиночество. Безнадежность. Безотцовщина. Война. Похоронка. Победа. Мир. Для каждого понятия свои отрывистые картинки, повторяющиеся, как косой дождь, уносящий поезд на фронт. Это «Сказка» Норштейна. Она – иная.

Повторяемость, отрывистость, единичность. История одного человека, прячущаяся в похоронке и сорванном ветром последнем желтом листке. Боль по неполучившемуся детству, когда рано взрослеешь, когда волчок и вороны ближе, чем окружающие люди.

Боль по тому детству, каким оно сохранилось в памяти, как нечто доброе, наивное, вечное, с голосом, вытягивающим колыбельную, от которого щемит сердце, как и от взгляда совсем не по-волчьи смотрящего волчка с человеческим упреком в глазах.

Фильм Норштейна выдержан на контрасте черного и белого, символов войны и мира, где бродит в поисках безвозвратно утерянного волчок – «ребенок войны» с печальными, не волчьими глазами.

В фильме есть и кот, и чинара, и поэт. Но они иные. Кот Норштейна не спит, как у Назыма Хикмета, олицетворяя собой счастье мирной жизни, отражающееся в воде вечности. А если и спит, то явно от скуки, пока лысый поэт сочиняет стихи. Кот у Норштейна ученый, пишет стихи и критически читает все написанное поэтом у чинары. Во всех сценах с его присутствием – если не сарказм, то хотя бы скрытая усмешка, поэтому и, наверное, чуть ли не единственная, вызывающая улыбку сцена в фильме тоже связана с котом, когда он тушит свечку, пред-

упредительно поплевав на лапки-пальцы. И кот, и чинара, и поэт – все они из «белой», светлой и мирной части фильма, в которой можно вечно жить под деревом, стирать, ловить рыбу, обедать у чинары, вечно сочинять и слушать стихи.

В своем порыве к добру и мирной жизни и стихотворение, и мультфильм, конечно же, созвучны. Интересен с этой точки зрения и символ света в обоих «Сказках». У Назыма Хикмета он сильный, яркий. Свет – это солнце, солнце – это жизнь. В мире Назыма Хикмета, к слову, уже есть подобная потрясающая формула счастья, выведенная им задолго до этого стихотворения. Но эта формула счастья – самая печальная, потому что понять и оценить ее может лишь узник, которого в первый раз выпустили из одиночной камеры на прогулку (стихотворение «Сегодня воскресенье»). У Норштейна свет – это мир и детство, в котором «было больше света, чем потом». Та самая полоска света, которая завораживает волчка, то сияние, в которое мы входим вместе с ним, соприкасаясь с тем особенным миром, который навсегда остался в детях военного поколения. Двор из того самого детства, мир, в котором остался этот двор, и есть самая главная сказка Норштейна. Мир, в котором нет еще той самой булочки, которую малыш уже в другом, послевоенном времени ест с воронами. Это уже другой мир, без ценностей, оставшихся в сиянии света, в который дозволено неслышной поступью войти лишь одному волчку, потому что он навсегда остался в нем, а нам, зрителям, остается лишь зажмуриться от боли от того, что ушло, деформировалось до степени неузнаваемости, превратившись в одну вечную сказку сказок, с призывом любить жизнь, ценить мир и самое главное – помнить.

Обе «Сказки» – о жизни и мире, любви к жизни и вечных ценностях, только по-разному рассказанные двумя сказочниками, один из которых любил жизнь так, как может ее любить тот, кто провел долгие годы в тюрьме, а другой – тот, кто никогда не забудет и не предаст свое голодное военное детство. «Сказка» Назыма Хикмета рассказана языком реалистичной сказки, сам термин и прием он ввел и уже использовал, когда задумывал пьесу «Легенда о любви» (1948). Близка она эстетике шестидесятников, к тому времени физиков и лириков, когда все поголовно занимались одним – «счастьем человеческим» (А. и Б. Стругацкие), когда в человеческом назначении сохранялось «девятьюстами процентов добра» (А. Вознесенский), и было страстное желание примирить понятия «все для блага человека» и «общее благо». «Сказка» Юрия Норштейна выдержана в стиле семидесятников, эстетика которых была иной, порою устрашающей и суровой. Уход от бытового реализма предшествующего поколения обуславливал появление нового языка образов и метафор, переплетение жизненной реальности с ирреальным миром воображения, когда именно нереальность побеждала реальность. В этой эстетике, если что-то замирает в виде временного отрезка, то это уже тяготение к распаду, а гармония ищется именно в дисгармонии. Точка без движения – так определяет сам режиссер, Юрий Норштейн, поиск того, что не может длиться бесконечно, а лишь посещать в какие-то мгновения. Должна быть относительность и временность этой точки, с тем, чтобы не потерять гармонию. Свою «точку без движения» Норштейн нашел и глубоко оценил в том, что подсказал Назым Хикмет, когда по одному исчезают отражения в воде всего живущего. Возвращая все на исходную позицию, поэт заставляет повторить за ним – «слава Богу, живем». Норштейну это тоже очень близко, он как-то выразил почти то же самое, но опять чуть иначе, чем Назым Хикмет: «Я люблю все то, что так или иначе примиряет тебя с жизнью».

Точка без движения в наложении времени образует недосказанность, то, что роднит обе сказки, особенность которых в том, что каждый может впустить в себя эту недосказанность в соответствии с тем, что пережил сам, ощутив боль на том уровне, когда можно вздохнуть и сказать – *çok şükür yaşıyoruz*.

ЗАУР МЕХТИЕВ

КОНСТРУКТОР СТИХОВ

Откровение

**Сон закупоривает веки
И заливает сургучом
Воспоминаний и сомнений...
А разум требует отчета**

**Перед собой и строим истин
Сегодня прожитого дня.
Отчета, где у каждой буквы смысл –
Отвоевание себя.**

**И постепенно сквозь виденья
Срастаются все мысли в звенья.
И ясно новому уму,**

**Что есть Предвечное Начало,
Что нас с тобою отличает
От прочих, канувших во тьму.**

Памятнику Вургуну

**Он, кажется, стремительно шагнул
В немую даль – и в бронзу превратился.
Корнями в землю отческую впился,
Как выросший в пустыне саксаул.**

**Прильни к нему – и ощутишь ты гул,
От бронзового тела исходящий.
Он, памятник, свои стихи, как раньше,
Из глубины души рождает вслух.**

**Земля их помнит. Нет, вернее, книга –
Ее листы так пахнут хвоей, глиной!..
Я шелест их ловлю ночной порой.**

**И где б я ни был, далеко иль близко,
Но снова глас поэта, песнь тариста
Меня зовут на родину, домой!..**

Заклинание

(Вольное переложение шумерского гимна)

**Тебе мольбы мои, Владычица владык,
Звезда моих ночей, бессонных и унылых.
Тебя не прогневит пусть грешный мой язык,
Прошу смиренно внять моим молитвам.**

**Тебе я, Йштар¹, говорил о той,
Другой звезде, от чьих лучей так больно...
Доколе же глумиться надо мной
Ей, расточая свет свой недостойным!**

**Я – как волна, что гонит ветер злой,
Я позабыл, что значит быть собой,
Брожу по миру, тень из преисподней.**

**Ведь ты сходила в Ад, так помоги,
Направь ко мне звезды моей шаги –
В небесном свете слиться на восходе.**

Письмо Аттилы

**Иду к тебе,
которой я пишу.
Ты царственной
любых владык на свете.
Я в жаркой сече
смерти не ищу –
раз обещал прийти,
так жди, надейся!**

**Я – азиат,
но мой горячий дух
ты можешь укротить
своим рассудком.
Связались воедино
наши судьбы,
как целый крест –
из половинок двух.**

**Я – воин
и привык разить мечом,
и для меня
нет лучше песни боя,
нет дружбы горячее,
чем с огнем,
и жизни больше,
чем со смертью спорить.**

¹Героиня шумерских мифов, богиня войны, а также плодородия и плотской любви, упоминается в эпосе о Гильгамеше.

**Разбиты будут,
кто меж нас посмел
или посмеет встать
себе на горе!..
И кубок мой
наполнит кровь из тел.
Я выпью за тебя,
за нас обоих.**

**Красивый жест –
жизнь подарить врагу,
иль отпустить раба
с добром на волю.
Но я к тебе
иду с огнем и болью,
и в рыцаря рядиться
не могу.**

**Пока ж – война,
горит огонь стихий,
и с хищным лязгом
сталь со сталью бьется.
Твой азиат,
воитель, раб бессонниц
шлет, как гонцов,
и стрелы, и стихи.**

Vae victis¹

**Я – конструктор стихов,
Я – единственный выживший в битве
Между армией слов
И в железо закованным ритмом.**

**Почему ж надо мной
Очертанья чужих мавзолеев?
Я не верю в восход –
Небеса от крови розовеют!..**

**Гулко падают вниз,
Разбиваясь, тяжелые комья
Перепаханной почвы...
Как нервы, натянуты корни.**

**А вдали канонад,
Что в былое ушли – отголоски.
Это ветер, должно быть,
Колышет на нивах колосья.**

¹ «Горе побежденным» – латинское изречение, которое приписывают Бренну, вождю галльского племени, в IV веке до н.э. захватившего и разграбившего Рим, навязавшего побежденным унижительные условия капитуляции.

Где-то вскрикнула птица,
И крыльев послышался шелест.
Что-то нечем дышать –
Это воздух густой, словно тесто.

Каждый вздох отдается
Чудовищной, ноющей болью.
Позабывтый сонет,
Как осколок, вонзился над бровью.

Где-то там, в глубине
Мозговых потаенных извилин,
Сразу сто революций,
И рушится сотня Бастилий.

Эшафот возведен,
Ироничный смешок гильотины...
И беснуется чернь,
Королевскую видя кончину.

Это я проиграл.
Как условились, пленных не брали.
Строки вторглись в меня –
Так в империю вторглись вандалы.

Я – конструктор стихов.
Я – единственный павший в той битве
Между армией слов
И в железо закованным ритмом.

Болезнь

Ночная мгла скрывает всякий грех
В своей туманной пелене и смоге.
В ней тонут хижины, дворцы, дороги,
Мосты, поля, руины... В декабре

Часы спешат, чтоб сумеречный дёготь
Скорей очистил душу. И для глаз
Невидима, зима, как дикий барс,
О мертвые деревья точит когти.

И ветер с воем носит этот звук.
Бьет дрожь – ведь каждый мимолетный стук
Больную память вновь и вновь тревожит.

Всплывают в ней гримасы чьих-то лиц.
Мой друг – коньяк, спасающий от дрожи...
О, как невыносим стал груз ресниц!..

НАТИГ РАСУЛЗАДЕ

Девушка в красном, дай нам, несчастным!

Рассказ

Это был вредный мальчик. Когда ему говорили об этом, он возражал:

– Нет, я полезный!

– Тогда, – говорили ему, – назови хоть одно полезное дело, которое ты сделал.

Он молчал и ухмылялся, гаденыш. Ему было тринадцать, он любил делать пакости – вдруг, ни с того ни с сего, возьмет и нагадит. У него был брат на год младше, прямая его противоположность, добрый, кроткий, тихий.

– Агашка, – говорили ему, – посмотри, какой у тебя брат хороший, все его любят за его добрый характер, бери пример с него.

– Хорошо, возьму, – говорил Агашка, а хитрые маленькие глазки его коварно поблескивали, когда он исподлобья бросал короткие пронзительные взгляды на брата. И в тот же вечер, перед сном, он помочился в постель брата, пока тот чистил зубы в кухне над раковиной, пописал прямо на застеленную чистую простыню и убежал из дома.

– Надоели, – бормотал он, бросая на прохожих на вечерней улице взгляды обиженного волчонка. Почти до утра бродил под мелким сентябрьским дождиком, пока не увидел распахнутую дверь пекарни. Вошел. Две толстые женщины. Лбы и подбородки испачканы мукой. Угостили булкой.

– Ну почему ты такой? – сетовала мать, внимательно глядя на него в ожидании ответа.

Он молча пожимал плечами, исподлобья глядя на голую стену, на окно, на дешевую вешалку, прибитую к двери изнутри, но только не в лицо матери.

Отца у них не было, давно покинул семью, еще когда Агашке было только пять лет. Временами, будучи не в настроении, мать (а в настроении она бывала крайне редко) заводила об этом разговор; Агашка хмуро отмалчивался, ему не нравилось, когда ругали отца, за годы безотцовщины он успел основательно забыть его, потому что отец никогда не навещал их, но всегда мысленно представлял себе нечто строгое, сухое, благородное в его понимании, с длинными усами, как у Максима Горького из учебника литературы. Кстати, читать он тоже не любил. А однажды, когда мать уже допекла его своим запоздалым и довольно примитивным ворчанием в адрес отца, выставляя того законченным негодяем и подонком из-за того, что он покинул её с двумя малолетними детьми на руках, Агашка вдруг возразил:

– От такой женщины любой бы убежал, – сказал он негромко, будто самому себе. – В зеркало посмотри.

И хотя он, в общем-то, был прав, и восемь лет назад, когда «негодяй» оставил её, мать так же, как и сегодня, не отличалась красотой, была сухой и костлявой, с запавшими глазами и лысеющей головой, и конечно, она прекрасно понимала, что сын прав, тем не менее затрещину Агашка получил. Полетел на пол. Рука у матери была

тяжелая. Задержавшейся в девицах, ей только в тридцать три чудом удалось выско-
чить за слесаря, ходившего после работы на заводе по домам и чинившего всякую
сантехнику, и по пьянке обрухавшего её, перед этим заменив лопнувшую водо-
проводную трубу в их доме. На трезвую голову вряд ли получилось бы. Не трубу за-
менить, обрухатить. Женился, куда денешься, тем более, соседи по улице.

– А в рот... твоего отца, пидора! – не удовлетворившись затрещиной, истерично
выкрикнула мать. – Сам смотри в зеркало, паразит! Мне некогда по зеркалам красо-
ваться, вас, шакалов, кормить надо.

Мать самоучкой выучилась играть на аккордеоне, ходила по свадьбам, играла
народные песни, аккомпанировала таким же самодеятельным певицам. Свадьбы в те
годы, в середине прошлого века не отличались особой роскошью, часто играли
свадьбы дома, голытьба и мечтать не могла о ресторанах, и музык порой ограничи-
валась только исполнением на аккордеоне, и спрос на её игру все же был, хоть и на
бедных свадьбах, и она, торгуясь до хрипоты, кое-как пробавлялась, подрабатывала
к своей инвалидной пенсии. Инвалидность же она приобрела из-за порока сердца, и
втайне радовалась такой удаче, но в ту пору, пока добивалась мизерной своей пен-
сии, бегая по разным инстанциям с бумажками и справками, глядя умоляющими гла-
зами на чиновников, от которых зависело – дать или не дать, выделить ей пенсию или
нет, она, по её собственному выражению, чуть не подохла. Пенсия, плюс случайные
заработки от игры на аккордеоне, плюс алименты от «негодяя», давно переехавшего
с их улицы и женившегося по второму разу – всего этого хватало, но не очень, не по-
шикуешь на такие деньги: зимнюю, добротную обувь мальчишки надевали по очереди,
денег хватило только на одну пару, оставшийся без ботинок ходил в тот день в лет-
них сандалиях, мясо могли позволить себе не чаще, чем раз в неделю, да и лекарства
для матери кусались, денег требовали, не шутка – сердце, это вам не геморрой ле-
чить; телевизора, уже имевшегося у многих соседей, у них не было, дряхлый радио-
приемник тархтел постоянно – то вещал, то пел. Так и жили.

Учился Агашка плохо, был туп и нелюбознателен, оценки добывал не знаниями,
а больше выклянчиванием – выпрашивал, канючил, ныл, как цыган, и в конце кон-
цов добивался какой-то жиденькой дохленькой закорючки в дневник. Немного за-
икался. И чтобы учителя пожалели его, отвечая урок, заикался уже намеренно, словно
не в силах выговорить хорошо подготовленное дома задание. А усиливалось есте-
ственное заикание, когда волновался, когда придуманная подлая выходка оказыва-
лась весьма изощренной, и он, предвкушая реакцию униженной стороны на свою
пакость, заранее волновался и трепетал от удовольствия. После уроков он околачи-
вался возле школы вместе с хулиганистыми юнцами, приходившими сюда с нагорной
части города, славившейся криминальными своими личностями, известными чуть ли
не по всему этому району своим воровским прошлым и настоящим. Стоял Агашка,
гордясь, с молодыми ребятами, открыто курившими анашу, слабый наркотик, и про-
вожавшими плывущими, затуманенными взглядами выходивших из школы старше-
классниц. Агашке как-то тоже дали затянуться папиросой, начиненной анашой, один
разок, и тут же отняли папиросу, он так ничего и не почувствовал, а ожидал с тре-
петом. Не хотелось после уроков, на которых он в основном дремал, возвращаться
домой, слушать непрекращающиеся жалобы матери самой себе, вдыхать кислый
запах супа из капусты, казалось, пропитавший стены с провисшими обоями одно-
комнатной квартирки, видеть младшего брата, послушно зубрившего уроки, которого
мать всегда ставила в пример ему, Агашке. В комнате было холодно осенью и зимой,

в газовой стенной печи за долгие годы засорилась вытяжка, угар бил в комнату, и мать в последние две зимы не пользовалась печью, боялась, что все они задохнутся и умрут от угара, а позвать мастера прочистить дымоход – пока не было лишних денег. Одевались тепло и так, одетыми, и ложились спать. Зато в летний зной в их квартирке было прохладно, хоть один положительный момент.

Мимо Агашки и парней с нагорной части города прошла девушка-десятиклассница в красном жакете.

– Д-девушка в к-красном, дай нам, несчастным, – сказал вслед ей Агашка, вызвав взрыв смеха у молодых бездельников.

Девушка даже не оглянулась. Но Агашке казалось, что он вырос в глазах «блатных», так восторженно встретивших его реплику. Обычно на его слова никто не обращал внимания, потому что ничего умного или хорошего от него не ожидали.

– Здорово! – сказал один из них, обращаясь к Агашке. – Девушка в красном... – он захихикал, не закончив фразы.

– Дай нам, несчастным, – договорил за него Агашка, подобострастно заглядывая ему в глаза, боясь и уважая парня за то, что тот постоянно носил при себе нож-финку.

– Сам придумал? – вполне серьезно спросил парень.

– Ну, да... – тихо промямлил Агашка, не желая сознаваться в плагиате, хотя много раз слышал эту фразу от своих одноклассников.

– Да ты просто поэт! – деланно восхитился парень. – Ну-ка, скажи стишок.

Подростки вокруг захихикали.

– Тихо! – прикрикнул на них парень и выжидающе посмотрел на Агашку долгим взглядом. – Как, ты сказал, тебя зовут?

– А он еще не говорил, – напомнил один из ребят.

– Каждый день трется возле нас, а знакомиться не хочет, – стал подначивать главаря другой.

– Он, наверно, шпион, – сказал третий, и все вновь захихикали.

– Н-нет, я не ш-шпион, – стал испуганно оправдываться Агашка.

– А почему же ты в летних сандалиях? – не отставал парень. – Не холодно?

Агашка не знал, что ответить.

– Молчишь? Тогда скажи нам имя и фамилию, – дурачась и подмигивая своим, попросил главный парень.

– Агашка Мамедов, – сказал Агашка.

Ребята и на этот раз громко рассмеялись. Агашка заулыбался настороженно, еще осторожничая и боясь подхватить смех.

– Что это за имя такое? – спросил главный, посмеиваясь.

– Да я же говорю – он шпион!

– Ну, ладно... А теперь скажи нам стишок.

– Я с-стишков не помню, – признался Агашка.

– Как же ты в школе учишься? – поинтересовался один из ребят.

– Плохо, – признался Агашка. – Еле-еле из одного к-класса в другой перехожу.

– Ладно, – сказал главный парень. – Мы пойдем. А ты можешь постоять еще немного. На, докури... – и протянул Агашке окурочок папиросы, начиненной анашой.

Агашка взял папиросу и посмотрел вслед уходящим юнцам, каждый из которых хотел быть похожим на своего вожака. Агашка присел на ступеньку возле дверей школы, на то самое место, где сидел вожак этой маленькой стайки ребят, что молча,

не разговаривая между собой, удалялись по узенькой улочке, и почему-то вспомнил вопрос главного мальчика о школе. А вспомнив его вопрос, машинально вспомнил, как однажды сильно избил его мать, вымещая на нем свою злость против бросившего её мужа, как он стукнулся головой о порожек их комнаты и потерял сознание, а потом, после травмы, очутился в больнице, и в дальнейшем стал туго соображать и плохо запоминать, ему надо было делать усилия, чтобы понять простые вещи, а делать усилия было лень, потому что и характер его немного изменился.

Он хотел бы подружиться с этими храбрыми, как ему казалось, крутыми ребятами, которым все было нипочем, которые нигде не учились и не испытывали по этому поводу никаких угрызений совести, и не мучились, как он, стараясь выполнять домашние задания и косноязычно отвечая у доски урок. Друзей у него никогда не было, опять же из-за его скверного, подлого характера, с братом он не сходилась и никогда не был близок, и тот тоже, в свою очередь, не делал никаких попыток сблизиться. Было бы здорово подружиться именно с этими ребятами, он их знал поименно: старший – Мурад, тот, что с ножом ходит (интересно, когда-нибудь он пускал его в дело?), другой, что так ловко поминутно сплевывает сквозь зубы, – Закир, еще один, нестриженный, с длинными, как у девчонки, волосами, учивший Агашку, как правильно надо шабить анашу, чтобы побыстрее закайфовать, это Сиявуш, еще один, в кожаной куртке, которая так нравилась Агашке – Эмин; да, подружиться с ними было бы здорово, но он боялся, что скверный его характер, выявлявший себя среди одноклассников, когда он делал разные пакости, невольно проявится и с этими ребятами. А что он делал в школе, среди одноклассников?

Ябедничал и клеветал на невинного одноклассника;

играя в футбол в школьном дворе, непременно старался свалить кого-нибудь, ставя подножку;

подкладывал незаметно на школьную скамью под ученика вымазанную чернилами тряпку;

стравливал двух одноклассников и сам с удовольствием принимал участие в мордобое;

и многое, многое другое, на что была щедра его, тем не менее, убогая фантазия.

Но с этими ребятами такое не прошло бы. Среди одноклассников он был самым старшим и самым сильным, потому что за недолгую школьную жизнь уже успел остаться на второй год, его побаивались и почти никогда не жаловались учителям на него за тайные его проделки, потому что не раз бывало, после уроков он подкарауливал стукача и жестоко расправлялся с ним; разве что девочки из класса, не таясь, рассказывали о его мелких и крупных подлостях. Но с этими «блатными» и с их вожакom с финкой в кармане подобное поведение не прошло бы, с ними было наоборот – их он побаивался, так же, как его побаивались в классе.

Как-то директор вызвал в школу мать Агашки и настоятельно посоветовал ей забрать сына и отдать его в школу для слаборазвитых детей, так как здесь, в школе для нормальных учеников, он не успевает и так и будет не успевать до последнего класса, то и дело оставаясь на второй год, и школу может закончить примерно когда нормальные люди выходят на пенсию. Мать не оценила мрачного юмора директора и с места в карьер стала плакать, рыдать и слезно молить его оставить сына в школе, обещая на будущее следить за его успеваемостью более внимательно. Директор вздыхал, ничего не ответил и Агашку пока оставили в покое. А более внимательное

наблюдение матери за успеваемостью сына свелось к тому, что число затрещин, ежедневно выдаваемых Агашке, namного и безрезультатно увеличилось.

После того, как Мураду понравилось то, что Агашка сказал вслед девушке в красном жакете, тот при случае, даже когда на девушках не было ничего красного, повторял свою неудачную шутку.

Агашке не нравилась ни одна из девочек ни из его класса, ни из параллельных. И это было странно в его возрасте, когда подростки то и дело влюблялись в своих сверстниц и тайно вздыхали и мечтали, и издали провожали их взглядами или же смело подходили и открыто давали знать девочке, что она – предмет обожания. Поразному бывало, в зависимости от характера, темперамента и нахальства мальчиков. Агашке же никто из девочек не нравился. Соплячки, решил он про себя, что с ними делать? Ему нравилась уборщица Кнарик, неопрятная женщина лет под сорок, вечно непричесанная, с красными глазами и выдающимся задом. Он как-то прокрался в маленький чуланчик, где Кнарик развешивала свои тряпки, прятала веники, как какую-то ценность, и переодевалась в рабочий синий халат. Именно в этом халате она Агашке и нравилась безумно, у него просыпался его тринадцатилетний перчик. Он пришел как раз вовремя. Кнарик через голову стягивала простенькое свое ситцевое платье, чтобы облачиться в халат. Мощный зад плотно облегал черные длинные штаны. Агашка увидел почти по-мужски волосатые выше колен мощные ноги, которым позавидовали бы штангисты, и застрявшую, не желавшую вылезать из платья, большую правую грудь в белой чаше бюстгалтера. Затаив дыхание, он на цыпочках подкрался к вожделенному заду и тихо пристроился, пока голова женщины выпутывалась из платья.

– Сейран Сулейманович! – услышал он возмущенный голос запыхавшейся уборщицы. – С ума сошел?! Кабинета у вас, что ли, нет?

Обхватив с двух сторон мясистые бедра Кнарик, Агашка делал свое дело, не обращая внимания на то, что женщина вроде бы была не совсем раздета. Обернувшись и обнаружив незаконное посягательство на свои прелести со стороны обычного малолетки, причем, в таких экстремальных условиях, Кнарик, тем не менее, позволила мальчику довести свое дело до конца, что длилось не дольше, чем снятие через голову платья, потом нашла мокрую, не совсем чистую тряпку и отшлепала мальчика по заду, пока он не успел натянуть штаны. Убежал, пристыженный, но довольный и улыбающийся нахальной улыбкой. Так как уборщица все еще возилась в своем закутке, Агашка, не долго думая, вернулся с полпути из опустевшего после уроков школьного коридора, подбежал торопливо и бесшумно к двери каморки и подпер её шваброй, после чего, хихикая и слыша отчетливый стук женщины в дверь изнутри и её возмущенные вопли, убежал уже окончательно с удовлетворенным чувством исполненной до конца пакости.

При первой же встрече со своими блатными новыми приятелями, он не преминул похвастаться перед ними своим первым сексуальным опытом, подробно рассказал о волосатых ляжках, чисто выбритых ниже колен ногах и выдающихся грудях Кнарик, прибавив тошнотворные подробности, которые даже этих малолетних воришек шокировали настолько, что тут же двое из них довольно щедро надавали ему подзатыльников. Агашка слюняво улыбался, подобострастно заглядывая им в глаза, особенно жожаку стаи, Мураду, но никакого поощрения с его стороны он не получил за свой рассказ, и спустя минуту, пока ребята молча передавали папиросу друг другу, и каждый по разу затягивался, Агашка, продолжая слащаво улыбаться, стараясь по-

нравиться, произнес:

– Девушка в к-красном, дай нам, несчастным, – и тихо захихикал.

Но тут же получил еще один подзатыльник от Эмина, куртка которого так нравилась Агашке, и он тайно мечтал, что ему купят такую же.

– Где ты тут видишь девушку, бля?.. Совсем мальчик, еба...

– Я же говорил, что он шпион, – напомнил Сиявуш. – Видит то, что другие не видят...

– Ладно, – прервал его Мурад. – Пошли отсюда...

Учитель по математике ходил зимой в калошах поверх ботинок, хотя в этом городе зима вовсе не была суровой, но он ходил в калошах, любил беречься, чтобы не застудить ноги. А перед кабинетом математики он снимал калоши, оставлял в коридоре перед дверью и в туфлях, как к себе домой, входил в кабинет, где его ждал класс из тридцати семи учеников. Зная эту его привычку, как-то посреди урока, когда был выгнан за очередные свои проделки, Агашка, чтобы отомстить математику, выпросил у завхоза школы молоток и гвозди для того, якобы, чтобы прибить объявление о приказе директора, и вместо несуществующего объявления прибил гвоздями калоши математика к паркету в коридоре. Спрятался и наблюдал. Выйдя после урока, пожилой и тучный математик машинально, привычным, отработанным за долгие годы движением влезая ногами в калоши, грохнулся так, что школа затряслась. Но устояла. А математик так стукнулся головой, что в ней перемешались все математические уравнения. Спрятавшись за колонной в коридоре, Агашка вволю похихикал. Виновника, конечно, нашли, тем более, что были такие весомые улики: молоток, гвозди, несуществующее объявление и такой серьезный свидетель обвинения, как завхоз, который и подтвердил все, что надо. На этот раз Агашку исключали вполне серьезно, чему он был несказанно рад, но вновь явилась истерически бьющаяся в судорогах мать виновника и приостановила процесс. И он в очередной раз, к своей досаде, остался в школе, раздумывая над более серьезной гадостью, совершив которую, уже точно должен быть изгнан, несмотря на все усилия матери. Но дома, разумеется, была серьезная экзекуция – мать отхлестала его ремнем так, что два дня после этого он не сидел, как все ученики, а стоял за партой.

Школу он так и не закончил. И последняя его выходка была намного серьезнее всех предыдущих: он поджег огромную поленницу дров в школьном дворе, лежавшую там долгие годы впритык к мастерской, где проводились уроки труда, и только по счастливой случайности огонь не перекинулся на помещение мастерской, и благополучно сгорели только дрова, непонятно зачем тут лежавшие годами. Агашка и тут по своей подлой привычке, в последнюю минуту испугавшись собственной проделки, постарался трусливо спихнуть это преступление на одного десятиклассника, которого видел поздно вечером возле школы, хотел подставить его, оклеветав, придумав невразумительные доказательства, оправдываясь перед директором, но номер не прошел, а десятиклассник хорошенько отлупил его. Тут уже пахло уголовным делом, и на этот раз никакие мольбы и истерики матери Агашке не помогли, директор выгнал её из кабинета.

– И скажите спасибо, что не передаем дело в прокуратуру на вашего малолетнего преступника, – сказал он ей напоследок, захлопывая дверь кабинета перед носом матери Агашки.

В сущности, Агашка остался доволен, ему теперь было четырнадцать, и ничего на свете его не интересовало, он оставался тупым и невежественным и никем не

хотел быть. И никого не хотел любить. И ни с кем не хотел дружить. Он хотел быть один, чтобы его оставили в покое, чтобы его забыли, будто его и нет вовсе. Было явно что-то ненормальное в его повадках, разговоре, жестах, даже в облике. Мать оставила его в покое, но исподволь старалась найти для мальчика хоть какую-то работу, раз уж со школой не получилось: до каких же пор ему сидеть на шее у матери, пусть хоть малые деньги приносит в дом. Младший радовал её, подавал надежду, учился хорошо, интересовался техникой, и втайне она лелеяла мечту, что, может, он даже поступит в институт после школы, как дети из многих нормальных, обеспеченных семей. Мальчик был живой и любознательный.

Агашка поначалу слонялся по улицам, посматривал на женщин, разевал рот на прохожих; потом мать устроила его рабочим в маленький продуктовый магазин в их квартале, где он работал неофициально, можно сказать, тайно, заведующий магазином выдавал его за своего родственника, мальчика на побегушках, которому он ничего не платит, а только кормит, пока он помогает в магазине. Конечно, какие-то деньги Агашка получал от него. В магазинчик часто заходили выпить водки, хозяин, продувная бестия, так это умело обставлял, что ни один участковый милиционер не мог ни к чему придраться, а он очень неплохо зарабатывал на своих постоянных клиентах, продавая разливную водку втрое дороже её цены. Иногда Агашке приходилось провожать крепко подвыпившего посетителя до дому, почти нести на себе, кое-что ему перепало за это, но нечасто, что с пьяного возьмешь? И потому в подобных случаях мальчик сам проявлял инициативу: не дожидаясь, пока клиент станет рыться в карманах, он сам аккуратно, незаметно, нежно лез в эти карманы, осторожно шарил в них и выуживал порой неплохой улов, который и перекачивал вполне успешно в свой карман, пока клиент заплетающимся языком учил его, как надо жить. Большей частью, разумеется, клиенты до его рук доходили не платежеспособными, облегчившими свои карманы в магазинчике у хозяина Агашки. Он в таких случаях не огорчался, уповая на то, что на его век пьяниц хватит. Таким образом, стало быть, зарабатывал, если только это можно назвать заработком. Матери, естественно, не говорил об этом, а деньги копил и прятал в тайнике в общем дворике, возле туалета, одного на восемь соседских семей.

Однажды, гуляя по улицам в центре города в свой свободный день (точнее – свободные полдня, так как официально хозяин ему выходного дня не давал, мальчик мог всегда, каждую минуту пригодиться в магазине), Агашка увидел идущую навстречу девушку лет двадцати пяти-двадцати семи. Она была в красной юбке, в руках у неё была красная сумка, а губы ярко накрашены и были похожи на спелые вишни.

Агашка невольно улыбнулся, не сводя глаз с пышного бюста.

– Д-девушка в к-красном, – произнес он тихо, на всякий случай держась на таком расстоянии, чтобы при неблагоприятном раскладе дел она не достала бы его своей красной сумкой по башке.

Девушка приостановилась, незаметно оглядываясь на редких прохожих. Он тоже остановился. Сделал робкий шаг к ней.

– И что? – спросила она, чуть играя сумкой.

– Что? – не понял он.

– Что – девушка в красном? – уже несколько раздраженно спросила она.

– Дай нам, несчастным, – не совсем уверенно продолжил, тем не менее, он.

– Пошел к черту, шпаненок, – сказала она равнодушно и совершенно спокойно.

– У меня есть деньги, – сказал он.

На этот раз она более внимательно посмотрела ему в лицо и, так как стояли они почти посреди улицы, отшагнула к стене дома. Он приблизился к ней.

– Тебе сколько лет, малыш? – спросила она.

– А сколько надо? – спросил в свою очередь он.

– Восемнадцать, – сказала она.

– Мне восемнадцать, – сказал он.

– Да что ты говоришь? – усмехнулась она. – Только что исполнилось?

Он заулыбался, зачмокал губами, стал похож на поросенка.

– Деньги покажи, – сказала она, понаблюдав некоторое время за его ужимками.

Он выгреб со дна кармана и показал мятые купюры разного достоинства, скатанные в шарик в его ладони.

– Давай сюда, – сказала она властно и протянула руку к деньгам.

Он тут же спрятал руку за спину. Редкие прохожие оглядывались на них.

– Отойдем в сторонку, – сказала она и вошла в ближайший подъезд дома, на углу которого они стояли.

Он вошел следом, все еще держа руку с деньгами за спиной.

– Гони бабки, не бзди, – сказала она спокойным голосом, с милой улыбкой на лице. – Здесь все и обделаем. С тобой, малолеткой, меня ни одна бандерша к себе не впустит.

– Нет, – сказал он. – Я не хочу так. Хочу нормально, по-человечески, в постели.

– Да пойми ты!.. – начала она, но он прервал.

– Впустит, – сказал он. – Пошли.

– Ладно, – неохотно сдалась она. – Как знаешь.

Она привела его на квартиру недалеко от того места, где они разговаривали, не пришлось даже брать такси, пешком дошли за десять минут. По дороге не разговаривали.

– Ты с ума спятила! – встретила её хозяйка квартиры. – Это же мальчишка! Растление малолетних, хочешь меня под монастырь?..

– Мне в-восемнадцать, – спокойно сказал Агашка. – Это я так выгляжу, моложе с-своих лет. Все мне дают с-семнадцать.

– Хорош трепаться, – сказала хозяйка, внимательно оглядела парнишку, но в конце концов впустила.

– Полчаса, – сказала она девушке. – Не больше. Ко мне прийти должны. Увидят его, потом доказывай, что ты не верблядь, – завершила свою речь плоской шуткой хозяйка, но Агашка, тем не менее, рассмеялся, поддержал, так сказать, юмор.

Хозяйка окинула его благосклонным взглядом и дала подушку.

– Это ей под зад, – сказала она, кивая на подружку Агашки. – А то не достанешь.

В комнате была жесткая кровать, с досками, положенными под металлическую сетку, тонким матрацем на ней, и ночной горшок под кроватью. Стены были голые, как в квартире Агашки. Окно, неизвестно куда выходившее, было занавешено солдатским одеялом.

Девушку звали Зарема. Агашка, когда случались деньги, еще несколько раз навещал её в знакомой уже квартире. А после пятого или шестого раза он отнес в отделение милиции полуграмотное анонимное письмо, в котором указывалось, что в квартире по адресу такому-то открыт подпольный публичный дом, короче – бардак,

где его, пребывавшего в качестве клиента такого-то числа в таком-то часу, обокрали. Подписался каким-то китайским иероглифом. Оставил письмо в приемной начальника милиции и убежал, хихикая, предвкушая и потирая руки. Зачем он это сделал, Агашка и сам не знал, но испытал от своей пакости недолгое блаженство.

«Пусть их, тварей, накажут», – думал он с чувством удовлетворения, как человек, который в самом деле поступил благородно. Если бы его спросили, зачем он так поступил, он сказал бы: ну, поступил и поступил, так им и надо. Конечно, участковый милиционер давно знал о притоне в квартире, указанной в анонимном письме, и давно и своевременно получал свою долю от хозяйки этой квартиры, и время от времени девки, имеющиеся в наличии, бесплатно обслуживали его, а однажды даже он, несмотря на то, что был представителем власти, вынужден был лечиться от гонореи, заразившись от одной из девиц; так что отношения, можно сказать, были довольно близкие и теплые, но все же письмо такого содержания послужило для него поводом, чтобы временно прикрыть лавочку, что он и сделал, в виде наказания удвоив налог, взимаемый с бандерши, за то, что проштрафилась.

Через год, когда Агашке исполнилось пятнадцать, он стал поколачивать мать, когда уж слишком досаждала своим нытьем. В первый раз, когда вмешался и стал между ними младший брат, Агашка очень серьезно врезал ему кастетом по губам, так что в кровь разбил ему рот. На крик матери прибежали соседи, но виновник шулера уже отбыл на крейсерской скорости.

Теперь у него было место, и не одно, где он мог переночевать – у приятелей, таких же отщепенцев, босяков без роду и племени, в воровских малинах, там он и научился играть в нарды, да так мастерски и в короткий срок, что обыгрывал бывалых игроков, и денежка набегала немалая, в иную ночь выигрыш его бывал не меньше месячной зарплаты инженера. «Хорошо, я школу не закончил, – ухмылялся про себя Агашка, пересчитывая выигрыш, – теперь бы ишачил за гроши, как фраер». В карты, как его ни тянули, играть он так и не научился, слишком сложными оказались карточные игры для его интеллекта, для его неокрепших мозгов, все не мог освоить, даже в простейшую игру «21» не мог нормально играть, потому что постоянно сбивался, неверно подсчитывал очки и тормозил игру, что вызывало неучтивые нарекания, а порой и невежливые пинки со стороны напарников, которых он подводил своей непродуманной, заторможенной игрой. Зато в нарды обыгрывал многих, редко проигрывал, научился после долгой тренировки в одиночестве придерживать кости-зары и выбрасывать нужное количество очков (тренировался до одури, так что игральные кости по ночам сниться стали и выбрасывали очки по заказу, как в сказке), и никто не мог поймать его на афере, никто не мог доказать его шулерство, и он продолжал выигрывать, но время от времени все же получал по морде за удивительное «везение» от завистливых игроков-соперников, чуввших подвох, но не умевших конкретно что-то доказать и вымещавших свою бессильную злость кулаками на этом везунке. Все игроки обычно были старше него и могли просто надавать ему подзатыльников и прогнать, порой так и бывало, но его «везение» завораживало, игроки внимательно следили за его руками, бросавшими игральные кости, видели, кто восхищенно, кто удрученно качая головами, как он раз за разом выигрывал, и вместе с завистью в них в то же время пробуждалась надежда, что и им может так повезти, что и они могут так выигрывать; и Агашка часто оставался, его не прогоняли, мало того – он был в центре внимания. Разумеется, и проигрывал порой, иногда намеренно, чтобы усыпить бдительность соперников, а бывало – проигрывал вполне естественно более

сильным игрокам. За последний год он очень вырос, вытянулся, стал и в самом деле выглядеть старше своих лет, чем очень гордился, но оплеухи время от времени все же получал, когда слишком уж заносился. Он обижался на подзатыльники, на то, что трепали за ухо, но особенно не ершился: главным для него был выигрыш, деньги. Таким образом он, стало быть, зарабатывал, не гнушаясь изредка и воровать, но в тех только случаях, когда это было абсолютно безопасно, потому что был он трусоват.

Домой теперь заходил изредка, заранее выведав, когда матери не будет дома, чтобы не сталкиваться с ней; на младшего брата Агашка не обращал внимания, смотрел на него, когда тот обращался к нему с каким-нибудь вопросом, как на стену, как на неодушевленный предмет, не отвечая и никогда ни по кому – ни по нему, ни по матери – не скучая, не испытывая ни малейшего желая повидаться, если принять во внимание, что все ж, как-никак, родня. Нет, у Агашки подобное чувство было полностью атрофировано и абсолютно не тяготило его. Захватив смену нижнего белья, он покидал родной дом, такой унылый и безликий, что не мог вызвать у него даже воспоминаний.

– Мать скучает по тебе, плачет ночами, – информировал его брат. – Хоть бы раз показался ей. Вот, тебе немного денег припасла...

– Так, – тихо, себе под нос, бормотал Агашка, машинально, не глядя, забирая деньги, в которых абсолютно не нуждался, из рук брата. – Носки я взял, трусы здесь... Вроде бы, все... – и уходил из дома с маленьким узелком в руках, даже не взглянув в сторону младшего брата. А если брат бывал слишком уж назойлив и настоятельно требовал к себе внимания, Агашка, похлопывая себя по заднице, говорил ему:

– Я п-пёрну – ты поймай. Как в школе...Ты же, малыш, еще школьник...

И уходил, посмеиваясь.

Кстати, дружки, собиравшиеся возле школы и строившие из себя «блатных», теперь остались в далеком прошлом, хотя только два года назад Агашка восхищался ими, особенно их вожаком, и хотел быть на него похожим. Но два года в жизни подростка – большой срок, и многое произошло в его жизни за этот срок, и многое изменилось, не изменился только он сам, и теперь, вспоминая этих юных «наркош», кичившихся своими финками в карманах и умением курить дешевенькую анашу, Агашка понимал, что это голь и босячня, и пусть попробуют они заработать хотя бы за год то, что он зарабатывает иной раз за одну только ночь игры. И вспомнив их, околотивавшихся возле школы, он по ассоциации вспоминал и саму школу, как его, в качестве слабоумного хотели перевести в учебное заведение для дефективных, как мать настаивала, чтобы оставили, как все вокруг, включая даже их сердобольных соседей по двору, принимали живое участие, поддерживали мать в её справедливой борьбе с извергом-директором школы, советовали, что делать, что предпринять, куда идти жаловаться, все, все, во главе с матерью и младшим братом, старались изо всех сил; все, кроме самого Агашки, ему было безразлично, было абсолютно все равно, мало того, он мечтал вообще бросить учебу, и только мать мешала претворить в жизнь его горячее желание. Но он добился своего, он вне школы, он по уши в самой жизни, где каждый вертится, как умеет, и плевать на школу; и тупой, ленивый, малоразвитый, невежественный Агашка все же нашел лазейку в этой жизни, как он с гордостью думал про себя, и пусть теперь другие попробуют, эти отличники и маменькины сынки, а он посмотрит, чего они стоят на земле нашей грешной. Так он хвастливо думал о себе. Но, в сущности, ничего не изменилось, и он как был, так и остался заторможенным и придурковатым; но, видимо, Бог сжалился над ним или,

скорее, черт сжалился, и одна маленькая часть мозга (неведомо, какая) все же работала в полную силу, и была это часть, отвечающая за аферы, предательство, обман и воровство, мелкие пакости, мошенничество и шулерство, и многие другие поганые дела, которых нормальные люди сторонятся. Но ему дела не было до нормальных. На вырученные деньги он покупал одежду. Он еще мальчишкой мечтал красиво одеваться, завидовал одноклассникам, которым родители покупали обновки – модные брюки, куртки, обувь; он тоже хотел, но мать его не могла себе позволить покупать ему дорогую одежду, и он изнашивал одежду, вырастал из неё и ходил в заплатах. Агашка был хорошего роста для своих лет и купил себе дорогой костюм в магазине для взрослых, костюм пришелся ему почти впору, не надо было ни ушивать, ни подгонять. И в костюме этом он порой, не раздеваясь, спал в какой-нибудь кочегарке, где шла ночная карточная игра, или на вокзале, пока не появилась возможность снять комнатку, выдав себя за студента одного из городских институтов; но спал он в дорогом костюме не потому, что боялся, что если снимет, подозрительные картежники (некоторых он впервые видел), могут украсть, нет, просто таким образом он демонстрировал свое пренебрежение, свое наплевательское отношение к дорогим шмоткам, о которых раньше мечтал. Будто мстил этому бараклу за несбывшиеся мечты в школьные годы, когда он тоже хотел одеваться красиво, как мальчики из обеспеченных семей. Когда же отпала необходимость приходиться и оставаться на ночь в кочегарке, где с ним всегда делились сигаретами и пивом, он настучал на них в милицию, пошел и открыто заявил участковому милиционеру, что по ночам там идет карточная игра. Просто так захотелось. Зачесалось, как он сам о себе говорил, когда делал мелкие и крупные пакости. Иногда все же он испытывал небольшие угрызения совести, но удовлетворения было явно больше; он смотрел на итоги своих гадких поступков, испытывая наслаждение, и, как мастер, закончив добротную работу, любовно проводит рукой по изделию, ювелирно точно изготовленному, жалея, что скоро придется расстаться с работой, вручив заказчику, так и он получал удовольствие от крепко и точно исполненной гадости, жалея, что её невозможно повторить.

Прошли годы и Агашка нашел себе работу по характеру: устроился работать охранником в учреждение закрытого типа. Помогли деньги, скопленные за это время, что прятал Агашка в разных тайных местах, до того тайных, что никому и в голову не могло прийти искать их там. Ему уже было за тридцать лет, но семьи и нормального жилья у него до сих не было, и это его нимало не тяготило. Мать его умерла, на похороны он не явился (какая разница, – думал он цинично, – не воскреснет же она, если я приду, раз уж умерла), о младшем брате знал только понаслышке от случайно встреченных старых соседей: тот, как и следовало ожидать, закончил школу с отличием, окончил технический институт, стал инженером, работал, и, по всей видимости, был доволен своей жизнью, но пока оставался жить в той же каморке в многосемейном дворике, где жил до смерти матери. Агашка не испытывал ни малейшего желания повидать его, пообщаться с ним, хотя они ни разу между собой крупно не ссорились, просто он был абсолютно равнодушен к брату, как можно быть равнодушным к незнакомому прохожему на улице.

В этом учреждении закрытого типа, а короче – тюрьме – работа пришлась ему как нельзя больше по душе, несмотря на то, что был он рядовым охранником. Но и будучи рядовым, он сумел смекнуть, что если взяться умеючи, то здесь можно неплохо нагреть руки, а уж делать гадости и мерзости – тут край непочатый! И он активно принялся за дело. Но и старую свою «профессию» не забывал, играл, правда,

кофточки, неряшливо выглядывавший из-под жакета, и тихо, вкрадчиво произнес:

– Предвкушаешь?

На этот раз женщина ничего не ответила, отводя презрительный взгляд от этого надзирателя, посмотрела в окно, за которым пошел мелкий дождь. Он еще раз поглядел на красную полосу кофты и тихо, просительно проговорил:

– Девушка в к-красном, дай нам, несчастным...

На этот раз женщина взорвалась.

– Пусть тебе твоя мать даст, твоя сестра даст! – выкрикнула она ему в лицо.

Он захихикал, как человек, добившийся своего: все же удалось вывести её из себя, разозлить.

Время, между тем, шло, Агашка плыл по течению, не стараясь хоть что-то изменить в своей жизни, существующее положение вещей вполне его устраивало, он работал, мало получал, много зарабатывал, как и многие граждане этой страны (которым страна давала мало, но предоставляла возможность воровать, брать то, что плохо лежит, а плохо лежало многое на одной шестой части суши); по-прежнему, как в годы юности, он прятал деньги в самых невероятных тайниках и загашниках, снимал дешевую комнатку в отдаленном районе города, не имел и не хотел иметь никакого представления о политике, об общественной жизни города, в котором жил, отечества, в котором обитал, ни с кем не дружил, ни с кем не сходилась слишком близко и надолго, время от времени приводил к себе случайных женщин, деньги тратить не любил, но любил пересчитывать, экономил, не совсем отдавая себе отчет – с какой целью, ложился спать, надеясь, что завтрашний день будет похож на прожитый, был доволен, сыт, знал, что до конца века оставалось двадцать лет и хотел непременно дожить.

Разумеется, не забывал он и начальство, чтобы подольше продержаться на работе, точнее, начальство не давало себя забывать, точнее, они оба друг друга не забывали, и в определенное время со стороны Агашки делались обязательные в его положении взносы в пользу руководства, а руководство в свою очередь сквозь пальцы смотрело на темные делишки своего сотрудника и закрывало глаза на его, некоторым образом, подлые шуточки. В этой тюремной системе можно было бы, конечно, пойти и дальше и зарабатывать хорошие деньги на разных аферах и противозаконных делах, и иметь на этой работе гораздо больше, чем имел Агашка; например, находить лазейки к прокурорам разных районов города и поставлять им «клиентов», готовых хорошо «отблагодарить» за сбавленный срок, быть вроде посредника, вроде маклера, устраивающего обе стороны – и «клиента», и служителя закона, и на одной такой операции можно было заработать гораздо больше, чем мелочь, что имел Агашка на сегодняшний день; но в те опасные дебри ему путь был заказан, он сам это хорошо понимал, там уже требовались ум, хитрость, изворотливость, умение трепать языком, убеждая в своей правоте, то есть, требовалось все то, чего Агашка был лишен, что было, по его выражению, «не его ума дело». Тут ему могли запросто надавать подзатыльников, чего он с лихвой отведал в детстве, но гораздо более ощутимых и болезненных, мало того, он мог лишиться того, что имел – своего теплого, хлебного места. Он был доволен своим положением: и зарабатывал, и была возможность время от времени отводить душу – делать пакости, которые он так любил и на которые был тороват.

Как-то в городском транспорте, который в те далекие годы работал так, что его лучше не вспоминать, Агашка встретил своего школьного товарища, однокласс-

ника, еле узнал его после того, как тот настойчиво обратил на себя внимание, потому что, в свою очередь, узнал Агашку сразу, точно, окончательно и бесповоротно.

– А ты совсем не изменился, – сказал бывший одноклассник, хотя Агашка изменился, потолстел, причем на нем была теплая шинель сотрудника учреждений закрытого и очень закрытого типа. Но, видимо, школьный товарищ имел в виду крысиную мордочку, не сходящую с этой мордочки издевательскую ухмылку и бегающие глазки – сохранившиеся с детства черты и признаки, по которым он узнал Агашку.

В это время раздался возмущенный крик женщины с заднего сидения автобуса, обращенный к водителю, спокойно покуривавшему, глядя в окно.

– Ты, наконец, поедешь?! Сколько можно!..

Её поддержали другие пассажиры. И Агашка, которому школьный товарищ надел, как только открыл рот и которого он все еще не мог отчетливо вспомнить, с удовольствием присоединился к бунтующим пассажирам и внес свою лепту.

– Люди на работу опаздывают! – громко проворчал он. – А эт-тот сидит в жопе ковыряется.

Шофер швырнул окурки в окно, что-то пробормотал под нос и тронул автобус с места.

– Ну, как у тебя? Как жизнь? – обратился к Агашке товарищ. – Чем занимаешься?

– Жизнь нормально, – немногословно ответил тот. – А ты чем занимаешься?

– Я учительствую, преподаю, окончил Педагогический... Представь, устроился в ту же школу, где мы учились...

– Не надоело? – спросил Агашка, так и не ответив на вопрос товарища.

– Не понял, – сказал одноклассник.

– Про ш-школу говорю, – пояснил Агашка. – Не надоело вспоминать, ты же уже взрослый дядя...

– Ну, что ты! Лучшие наши годы, – сказал товарищ, и взгляд его затуманился, возвращаясь в те лучшие годы. – А помнишь, как ты в коридоре калоши математика прибил? Вся школа тогда говорила об этом.

На остановке в автобус вошла женщина лет сорока в красном пальто. Агашка посмотрел на неё и сказал как бы самому себе:

– Девушка в к-красном...

– А! – тут же вспомнив, перебил его товарищ и приглушенно закончил. – Дай нам, несчастным!

Оба тихо посмеялись, холодок, принесенный Агашкой, стал исчезать, таять.

– А эта ш-шпана все еще околачивается возле школы? – спросил Агашка, чтобы хоть как-то со своей стороны поддержать разговор – ни шпана, ни сама школа его ни мало не интересовали.

– Эти хулиганы, что ли? – спросил товарищ. – Да нет, они же все уже взрослые люди. Разбрелись, кто куда, главарь у них был... забыл, как зовут... все ножом своим хвастал, вытаскивал по всякому поводу... Его, я слышал, вроде, убили в драке...

– Ну и хрен с ним, – спокойно отозвался Агашка, но тут вдруг вспомнил того парня с финкой в кармане, и имя его вспомнил и вспомнил еще, как хотел на него походить, и другого тоже вспомнил, который в кожанке ходил, и он, Агашка, тоже хотел иметь такую куртку, и что-то зашевелилось внутри него, что-то непонятное, необычное, размытое, далекое, щемящее, он задумался, но... не позволил развиваться этому зачаточному ощущению, отмахнулся.

Товарищ между тем что-то говорил, трещал безумолку, видимо, хотел потренироваться перед уроками на Агашке. Агашка, не вникая, не слыша, смотрел на его быстро шевелящиеся губы.

– Что?

– Я спрашиваю, ты чем занимаешься, что окончил, ты школу после хоть окончил, где работаешь? – засыпал его вопросами любопытный бывший одноклассник.

Агашка помолчал, не зная, какой вопрос выбрать.

– Ну, ты работаешь, а? – настаивал товарищ. – Ты где?..

– В пи...де, на д-девятой полке, – не дав ему договорить, ответил Агашка резко и, не прощаясь, стал пробираться к выходу из автобуса, расталкивая стоявших в проходе пассажиров, хотя выходить ему было еще только через три остановки. Но очень уж надоел этот говорливый школьный товарищ.

Вскоре Агашка женился, не потому, что очень уж хотел, но на работе как-то странно посматривали (тем более – тюрьма: рассадник поползновений на однополые домогательства, надо было пресечь всякие подозрения и всех убедить в своей нормальной сексуальной ориентации), уже и возраст вполне подходящий, зрелый, даже несколько перезрелый, да и жрать будет готовить сучка, сколько можно по забегаловкам, так и желудок можно испортить...

Свадьбу сыграли скромную, Агашка, сославшись на свое сиротство, никого не пригласил, со стороны невесты тоже было негусто, все деревенские, недавно перебравшиеся в город, все какие-то косые, кривые, плохо выбритые, со своими хорошо откормленными женами, одетыми в блестящие платья, то золотистые, то серебряные (золотистые чванились перед серебряными, считались на порядок выше, дороже, золотистее); но сама невеста была очень даже ничего, в самом соку, выдающиеся формы, двойной подбородок, щеки, неумело выщипанные брови (видимо, сама постаралась, сэкономив на салоне), двадцать шесть лет. Справляли в захудалом ресторанчике, где в зале тошнотворно пахло жирной пищей из кухни. Трио заштатных музыкантов – тар, кяманча, нагара-певец – пели и играли самозабвенно, стараясь эмоциями восполнить непрофессионализм, и каждый в перерывах между исполнениями ел за троих, будто впрок, как верблюд. Двухсоткилограммовые, не первой молодости тетки плясали так, что ресторан сотрясался, отплясывали, стараясь попасть под прицел оператора, юлившего между ними с риском быть растоптанным. Вот такая свадьба. Невеста была сиротой, отец умер, была мать и двое старших братьев бандитского вида. Познакомился с ней Агашка в «Макдональдсе», где она сидела и в одиночестве уничтожала третий по счету гамбургер. Подсел, заговорил, окидывая взглядом пышные формы. Она не отвечала, и Агашка подумал: «Культурная, не вступает в разговор с первым встречным, наверно – целка». Но прожевав, она лениво произнесла безостановочно несущему всякую чушь Агашке:

– Не приставайте ко мне, я не люблю знакомиться на улице.

Встала и пошла, вытирая рот салфеткой.

Обратив внимание на её зад, Агашка увязался следом.

– Но м-мы же не н-на улице, – заискивая и заглядывая ей в лицо, не очень уверенно произнес он.

– Но все же, – не совсем понятно ответила она.

Какой-никакой разговор завязался. Они стали встречаться...

После первой же брачной ночи, наутро, Агашке захотелось выпроводить невесту, но было уже поздно – жена. Тогда он постепенно, со временем, стал поколачи-

вать её, чтобы не забывалась.

– Твоя мать к-катык продает, – напоминал он ей, колотя.

Тогда братья её стали поколачивать Агашку, прищучили в темном переулке, когда он возвращался домой, но колотили, как выяснилось, не потому, что хотели расквитаться за сестру, а с совершенно иной целью.

– Три тысячи, – сказал старший брат. – Отдадим с процентами, какие скажешь, через месяц.

При одном взгляде на него становилось ясно, что не отдаст ни через месяц, ни через тридцать лет. Они знали, что у Агашки были деньги, и Агашка знал, что они знают, хотя жену после свадьбы держал в черном теле, притворяясь некредитоспособным, ничего почти ей не покупая, а самое необходимое, как, скажем, нижнее белье, покупая с большим скрипом, после долгих упрасиваний и напоминаний с её стороны. Не любил тратить – первая причина, не хотел разглашать, что водятся деньги – вторая. Короче – он колотил её, они колотили его. Пришлось развестись. Ребенка не дождалась. Агашка был хитрым и ребенка ей не сделал. Этот подарок не про нас, думал он и был крайне осторожен во время близости с ней. Но еще некоторое время братья преследовали его, угрожали, вваливались без предупреждения среди ночи к нему домой, сторожили на улице возле дома, всячески приставали (теперь уже у него была своя маленькая квартирка, которая как была до женитьбы, так и осталась холостяцкой после жены), шантажировали по самым нелепым и смешным поводам, чтобы выманить деньги. Хоть поводы и были в самом деле смешными, Агашке было не до смеха. Пришлось обратиться в милицию, кое-что пообещать, угостить служителей правопорядка (с сердцем, обливающимся кровью) несколькими внушительными купюрами из бумажника, и проблема с несостоявшимися двумя шуринами была решена, можно сказать, в кратчайшие сроки и окончательно. Просто несколько раз после того, как милиция сделала им внушение, задержав обоих на десять суток и все это время вколачивая им ум в голову через другие части тела, то один, то другой, стояли на виду неподалеку от дома Агашки, и когда он выходил, видел их, но близко они не подходили, просто стояли с обиженным видом. Так закончилась короткая история супружеской жизни Агашки, и продолжалась сама жизнь, как ему казалось.

Однажды, когда он проходил по центральной улице города мимо главной достопримечательности – Девичьей башни, которую почему-то ненавидел до судорог, Агашка увидел толпу зевак возле башни, подошел. Все, задрав головы, смотрели вверх, где на самом краю высокой башни стояла женщина. Платье её развевалось, как флаг, она что-то громко вещала, но сильный там, наверху, ветер не давал её словам достичь толпы, относил в сторону.

– Что это она? – спросил Агашка у близстоящего мужчины.

– Броситься хочет, – сообщил тот.

Впрочем, и без него было понятно, что дело идет именно к этому. «Не стриптиз же нам оттуда показывать», – подумал Агашка.

– А ч-ч-е-его ждет? – поинтересовался он. – Сигнала, что ли?

Мужчина, неотрывно смотревший наверх на маленькую фигурку, опустил взгляд и внимательно поглядел на Агашку. Ничего не сказал, но лучше б он обругал Агашку – столько презрения было в его молчаливом взгляде, что любой другой потонул бы в этом презрении, но только не Агашка. С него любое презрение и ненависть слетали, как с гуся вода, ему было не привыкать, но при возможности маленькую месть он все же готовил для обидевшего взглядом, хоть и нимало не чувствовал обиды.

– Теперь м-модно стало, – проворчал Агашка. – Кто вниз головой бросается, кто сжигает себя, кто на бульваре в море топится. Не хо-а-тите попробовать? – уколел он напоследок молчаливого «собеседника».

Мужчина, выслушав такую мрачную информацию и вопрос, обращенный к нему, вновь оставил Агашку без ответа, на этот раз даже не взглянув на него. Отсюда, снизу, несколько человек активно махали руками женщине, кричали, упрашивая спуститься, но она, было видно, все больше распалась, все сильнее, все яростнее что-то кричала, сопровождая не долетавшие до толпы крики резкими жестами, и это не могло кончиться добром.

Агашка постоял несколько минут, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на женщину наверху на краю башни.

– Ну, она будет п-прыгать, или нет? – уже с возмущенными нотками в голосе, ни к кому конкретно не обращаясь, спросил он. – Мне на работу надо.

Несколько человек в толпе обернулись к нему.

– Вот и идите... – сказал ему старик из толпы, стоявший рядом, хотел продолжить и, судя по выражению лица, сказать еще что-то, по всей видимости, нелестное, в адрес Агашки, но тут женщина прыгнула. Толпа тихо ахнула. Как раз к этому моменту, будто артист, ожидавший за кулисами своего выхода, подъехала «неотложка». Агашка отвернулся и пошел своей дорогой. Не выносил вида крови.

На работе он тайком плюнул на бутерброд сослуживца, который тому приговорила жена, а другому сослуживцу незаметно всунул в портфель заранее отпечатанную на машинке записку, в которой «доброжелатель» (ничего оригинальнее не мог придумать) извещал рогатого мужа, что его жена путается с заместителем начальника тюрьмы. Настроение, испорченное репликой старика возле Девичьей башни, несколько поднялось. Таким образом, хоть и маленькое, но главное дело этого дня было успешно завершено.

С тех пор, как у него завелись деньги и Агашка стал прилично и стабильно зарабатывать, он несколько изменился, можно сказать – преобразился, стал гордым, осанка, походка изменились, исчезла суетливость в общении с людьми; к тому же он вдруг сделался чистюлей и таким брезгливым, даже каким-то щепетильно-брезгливым, что это новое качество в какой-то степени ограничивало его свободу, которую он имел, когда внутренняя нечистоплотность подтверждалась и усиливалась внешней: редко купался, нижнее белье, пропитавшееся многодневным потом, менял только при крайней необходимости, ел, что попало и откуда попало, ну, и все подобное в таком роде. Теперь же – нет, он сделался культурным.

У него было любимое кафе, где завтракали студенты. Любимым это кафе было по двум причинам: во-первых, оно было дешевым, студентам по карману, во-вторых, там готовили вкусное какао, что с детства любил Агашка, но не всегда в детстве удавалось отведать.

Перестав нуждаться и считать копейки, Агашка, тем не менее, не забывал это кафе, хотя теперь у него появилась возможность посещать дорогие рестораны. И вот однажды он, входя в кафе, столкнулся в дверях со старой нищенкой. Он знал её давно, постоянно, когда бывал здесь, видел на углу большого технического института, рядом с которым находилось кафе, студенты порой подавали ей мелочь, и она на эту мелочь питалась в излюбленном кафе Агашки, никогда ей не подававшим. Но на этот раз, увидев её, Агашка скорчил брезгливую, недовольную гримасу, посмотрел выразительно и без всякой нужды вслед нищенке, заказал у девушки за стойкой

какао и, взяв чашку, осмотрев и обнюхав её со всех сторон, не меняя брезгливой гримасы на лице, спросил ворчливо:

– Мыли чашку?

– Конечно, – несколько удивившись, ответила девушка.

– Хорошенько п-помыли? – не отставал Агашка.

– Конечно, – повторила она, глядя на него долгим внимательным взглядом. – Вы же наш постоянный клиент, вы должны знать – у нас чисто. – И опять удивленно глянула на него и на чашку в его руках.

– Не надо на меня так смотреть, – сказал Агашка. – Я видел, к-как от вас вышла нищенка, – он выжидающе уставился на девушку, но реакции не последовало, тогда он продолжил. – Вы что, считаете, такой человек, к-как я, может пить из чашки, из которой пила нищенка с улицы?

Все же какао из чашки он выпил и, недовольный, покинул кафе. Женская обслуга кафе, перешептываясь, провожала его взглядами, гадая, из какого учреждения мог быть этот их давний посетитель в дорогом костюме с иголки.

С тех пор старушку-нищенку перестали пускать в кафе, куда она раньше, особенно осенью и зимой, заходила погреться и выпить чашку горячего чая в окружении говорливых студентов.

Агашка, как и хотел, дожил до конца века, ему теперь было немало лет, но и не много, он достиг того зрелого возраста, когда эмоции и несерьезное отношение к жизни уступают место житейской мудрости и спокойствию духа. Но с ним ничего подобного не случилось, он по-прежнему откалывал всякие пакости, хихикая в душе и потирая руки от удовольствия. Может, он и добился бы гораздо большего, чем должность рядового охранника в учреждении закрытого типа среди человеческих отбросов, деклассированных элементов общества, но характер законченного негодяя, ощущавшего настоятельную необходимость откалывать всякие подлости и пакости, наложил на него печать несерьезного человека, придурковатого и гадкого, который может испортить любое стоящее дело ради непостижимого для нормальных людей пристрастия к мерзким шуточкам.

Если любви не было в нем, то какие сны его мучили? Очень редко Агашка видел сны, но один сон, часто повторявшийся, он помнил, хотя не придавал ему значения, как и многому в жизни, как и многому в своем существовании.

Сон: он идет по пустынной ночной улице, на нем длинный черный плащ, волочится по земле за ним, он знает, что и весь город пустынен, как эта улица, по которой он шагает, и тут внезапно он ощущает за спиной нечто, преследующее его, нечто невыразимо жуткое, невидимое глазом; он прибавляет шаг, бежит, потом бежит изо всех сил, нечто не отстает и дистанция между ними не увеличивается, и вдруг он вспоминает, что может летать, подпрыгнув изо всех сил, он ненадолго повисает в воздухе, но вновь ноги его опускаются на твердую брусчатку узенькой темной улочки, куда выходят и внимательно за ним наблюдают слепые черные глазницы окон покинутых жильцами домов; а кошмар, догонявший его, уже настигает и может сжать в железных объятиях и выжать из него всю кровь через рот, глаза, уши и другие дырки на теле (именно так ему представляется во сне), и он снова подпрыгивает на ватных от страха ногах, снова взлетает и летит, стараясь как можно выше, как можно выше подняться, но не может, а сухопутный ужас, лишенный способности летать, издавая нечленораздельные звуки, норовит схватить его за ноги и вот-вот схватит. На этом моменте он обычно просыпался, весь потный, тяжело переводя дыхание,

вытирал краем одеяла пот и снова, немного отдышавшись и успокоившись, засыпал уже без всяких снов, как неодушевленный предмет.

Впрочем, вполне обычный сон для людей с нечистой совестью. Неплохо сказано, но, с другой стороны, – поди разбери, что за чертовщина в этих снах даже самого примитивного человека, так что лучше в них не копаться.

Как-то, возвращаясь домой после трудов праведных на работе, усталый, злой, взвинченный после тяжелого рабочего дня, он, уже войдя в парадный подъезд, пошатнулся и даже не понял, как очутился на цементном полу. В парадном никого не было. Полежав некоторое время, он попытался подняться. Безуспешно. Тогда он попытался крикнуть, позвать на помощь, но и это не получилось. Агашка не на шутку испугался, обмочился от страха, не в силах сдержаться, и так и лежал минут двадцать, пока сверху на лифте не спустились соседи. Увидев Агашку, напустившего лужу и лежавшего в антисанитарных условиях в этой луже, они – муж и жена – сначала приняли его за пьяного и собирались уже перешагнуть через съезжившееся на полу тело, но тихий болезненный стон остановил их. Мужчина присмотрелся, внимательно поглядел в лицо мычавшего, не в силах шевельнуться Агашки, узнал в нем соседа, обитавшего в их доме на пять этажей ниже, беспомощно развел руками и стал о чем-то советовать с женой. Агашка хотел покрыть его, тугодума, тяжелым матом, попробовал – слова не выговаривались; но жена соседа вовремя сообразила и поднялась к себе домой, чтобы вызвать «скорую».

Агашку госпитализировали с инсультом. Откуда при такой жизни он у него взялся, одному только Богу известно. Особо не нервничал, ничто его не волновало, на все плевать хотел, жил в достатке, думал и заботился только о себе, на работе ситуация была вполне нормальной за вычетом каждодневных мелочей... И вдруг – на тебе: инсульт, как у какого-нибудь профессора, плохо кормленного интеллигента, добровольно взвалившего на свои хрупкие плечи думу о народе.

Агашка лежал теперь недвижим в больничной палате на пять человек, где неслышно воняло, а приходившие посетители больных приносили с собой еще большую вонь, иные громко, бесцеремонно разговаривали, размахивали руками, возмущались. И все тут было о болезнях, все было – одни болезни, все было вокруг болезней. У него отнялась речь, он был парализован на всю левую сторону – рука и нога, не мог говорить, только мычал, когда что-то хотел, или когда ему что-то не нравилось. Редко, когда к нему подходили, то санитарка, то медсестра...

Теперь у него было много свободного времени, он мог только думать, вспоминать, и он думал, вспоминал...

И он огляделся внутренним взором, заглянул, насколько мог, в свою съезжившуюся, позабытую душу и вокруг, и внутри себя увидел одну только пустоту, ледяным холодом веяло из той зияющей пустоты.

И тогда он вспомнил, как лет десять назад, неизвестно, как разыскав его, к нему явился младший брат. Агашка очень удивился стуку в дверь в ненастный, дождливый поздний вечер: к нему никто не приходил, он не то, что отвык, он даже не привыкал ни к каким посещениям, тем более, в дождливый поздний вечер. Сначала он не хотел открывать, смотрел какую-то муть по местному каналу, не вникая и копаясь в носу, но стук повторялся все настойчивее. Агашка неохотно поднялся, пошел к двери. Посмотрел в глазок, выключив свет, чтобы тот тип снаружи не заметил бы, что его разглядывают. Но в парадном тоже было темно, хотя в другое время над соседской дверью всегда горела лампочка.

– Кто это? – суровым голосом начал переговоры Агашка, но в это время, как по команде, засигналили на улице все машины, имевшиеся в наличии в городе.

Тот что-то говорил за дверь, пытаясь оправдаться.

– Кто-кто? – подозрительно переспросил Агашка.

Повторный шквал сигналов покрыл и вопрос, и ответ. Агашке надоело, пришлось открыть.

Открыл. Посмотрел через цепочку на мужчину в мокром плаще и сухо спросил:

– Ч-что вам надо?

– Здравствуй, Агашка, – сказал негромко мужчина на пороге. – Я брат твой родной.

Агашка долго через полуоткрытую дверь вглядывался и изучал лицо, и узнал, наконец, знакомые черты. Он снял цепочку и впустил брата. Опустив глаза, он увидел грязные ботинки и сказал:

– Лучше с-ними обувь, вот, надень м-м-о-ои тапочки, – и, сбросив с ног тапочки, предложил брату.

Грязная обувь брата в дешевом плаще, похожего на мокрую курицу, несколько насторожила его, и тут же пришла в голову мысль, что брат будет просить помощи, денег. «Не дам, – твердо решил Агашка, – пронюхал, значит, что водятся денежки... Не дам». Но, как оказалось, брат его разыскал не с этой целью.

– Я уезжаю, – сказал он. – Далеко. На север. Там у меня семья. Жена и дочь. Приезжал сюда в командировку, вот и решил найти тебя, попрощаться. Вряд ли еще увидимся. – Брат говорил короткими, рублеными фразами, как сугубо деловой человек, и это никак не вязалось в Агашкином представлении с его бедной, задрипанной внешностью.

Оба помолчали, Агашка даже не догадался пригласить его в комнату, присесть, так и стояли в прихожей, возле плотно прикрытой входной двери, брат в тапочках Агашки, он – босиком.

– Уезжаешь, – проговорил Агашка и суетливо продолжил: – т-тебе, наверно, деньги нужны? У м-меня...

– Нет, – перебил его брат. – Не нужны. Я хорошо зарабатываю. Я ведущий специалист на огромном химическом комбинате. Деньги не нужны. Просто пришел, повидаться. Вряд ли еще приеду.

– Ясно, ясно... – пробормотал Агашка.

Еще постояли молча минуту-другую, не зная, о чем говорить, Агашка разглядывал стены, будто впервые их видел, отводил взгляд, брат, напротив, изучающим взглядом долго, пристально смотрел на него.

– Ну, я пошел, – сказал он.

– Уже уходишь? – с нескрываемым облегчением спросил Агашка.

Брат надел свои грязные ботинки, обманувшие Агашку, и в дверях, обернувшись, сказал:

– Прощай, Агабала.

Агашка взглянул на него более внимательно, и теперь разглядел в лице брата знакомые родные черты, он немного походил на него, Агашку, глаза только были совсем другие: не бегающий, твердый взгляд.

– Прощай, брат, – ответил Агашка, но с некоторым опозданием, дверь уже хлопнулась за ушедшим братом.

И тут, опустив взгляд на свои босые ноги, Агашка увидел на них дешевые ис-

топанные детские сандалии, что по очереди надевали они с братом, когда другому доставались ботинки. Агашка встряхнул головой, зажмурился на мгновение, открыл глаза, осторожно посмотрел вниз и снова увидел только свои босые ноги. И тогда он поспешно надел тапочки, пугаясь всяких ненужных и незваных видений, и почувствовал тепло ног брата, тающее, исчезающее в тапочках.

Теперь, лежа в больничной палате, на дурно выстиранных, пожелтевших простынях в собственных нечистотах, вдыхая острую жуткую вонь своего тела, он вспомнил вдруг эту давнюю встречу с братом, и его внезапно, как удар ножа от притаившегося ночного бандита за углом, пронзила такая невыносимая тоска, такое непонятное, а потому страшное чувство, что он громко завывал, замычал, заметался в постели, насколько позволял паралич всей левой стороны тела.

– Больной чего-то хочет, – сказал его сосед по больничной палате пожилой санитарке, выносившей тазик, полный отбросов.

Женщина только взглянула на него, ничего не сказала и вышла из палаты.

Агашка лежал беспомощный в вонючей постели, страх, животный страх охватил его, ужас неведомого сжал его сердце, заставив содрогаться и трепетать, он испуганно притих и заплакал.

«Господи!» – подумал он.

«Боже мой!» – подумал он.

А что – Господи, что – Боже мой, так и не знал, не умел додумать дальше. Жизнь его, несправедная, мерзкая, подлая жизнь его стала разворачиваться перед мысленным взором, он увидел себя пятилетним, когда мать избивала его, и он попал в реанимацию больницы и что-то в то время как бы оборвалось в его мозгу, в его сознании, и он стал другим, немного другим, сам того не ощущая и не понимая; потом он вспомнил себя школьником, вспомнил, как характер его менялся к худшему, становился все хуже, все невыносимее, как окружающие дети старались не общаться с ним, сторонились его, семилетнего, и это его злило еще больше. Он увидел себя среди уличных мальчишек, угощавших его папиросой, начиненной анашой, вспомнил, как лебезил перед ними, стараясь быть похожим на них, на их главаря с ножом-финкой в кармане, как стремился, чтобы они взяли его тоже в свою уличную шайку маленьких бездельников и хулиганов. Вспомнил, как однажды, устав от его пакостей и зубоскальства, от его предательств, когда он подставлял и клеветал на своих одноклассников, несколько мальчиков из его класса, сговорившись после уроков, разом напали на него и жестоко избили, как он отбивался с кастетами в руках, но им в конце концов удалось сбить его с ног и проучить так, что он остался лежать на земле и не мог подняться. Потом пришел черед его работы в магазине, где он помогал хозяину, заведующему, таскал ящики, а заодно таскал из карманов пьяных посетителей их деньги, научился воровать не хуже профессиональных щипачей, что работали по карманам и сумкам в городском транспорте. Перед глазами встала картинка, когда он впервые полез в карман пьяного посетителя магазина, где хозяин продавал водку на разлив, как в какой-нибудь городской забегаловке, как выудил из его кармана довольно приличный улов для такого вдрызг пьяного, шагавшего заплетавшимися ногами, опираясь на плечо своего грабителя. Вспомнил и довольно продолжительный период своей жизни, когда научился жульничать в игре в нарды и зарабатывал на игре хорошие деньги, и копил их, и прятал в различных укромных местах, в тайниках: закапывал в парке под раскидистой шелковицей, прятал под полом аварийного полуразрушенного дома на окраине города, куда заходить было опасно – дом вот-вот

мог бы рухнуть. И работу свою вспомнил в тюрьме, когда любил издеваться над арестантами, теми, кто был послабее и не мог ему ответить, за кого некому было заступиться. Все гадости и пакости, мелкие и крупные, что он устраивал на протяжении своей мерзкой, тошнотворной жизни, вереницей проходили перед его глазами, а он беспомощно лежал, не в силах шевельнуться, не в силах произнести ни слова, и только мычал, будто его душили, будто вся его нелепая жизнь своей невыносимой тяжестью навалилась на него и не давала дышать.

«Боже мой, Господи», – думал он, и нечто, что крутилось в голове у него, похожее на молитву, никак не хотело идти дальше этих нескольких слов, а смутные, невыразимые словами мысли его были, в сущности, о том, что если б ему представился шанс еще раз прожить свои пятьдесят лет, свою незавершенную жизнь, то он теперь знал бы, как её прожить, как её правильно прожить: а именно так, как он жил до своих пяти лет, чего сейчас никак не мог вспомнить и никогда не помнил. Он прожил бы её, как пятилетний ребенок, открытый для всего хорошего, для всего доброго, светлого, был бы наивен и прост, любил бы всех, любил бы всё, любил бы деревья, кошек и собак, что в детстве мучил и убивал, любил бы людей и Бога. Он вспомнил свою мать, её руки, и ему вдруг так страшно, так неудержимо захотелось поцеловать эти руки, большие крестьянские руки, способные охватить почти целиком всю клавиатуру на аккордеоне, на котором она играла, зарабатывая для них с братом деньги, чтобы купить им обновки, из которых, как назло, они быстро, будто торопясь окунуться в эту горькую жизнь, вырастали. Он был бы как пятилетний ребенок, который еще не получил травмы и похож на всех других нормальных детей, и он бы целовал грубые, натруженные материнские руки.

Агашка зачмокал губами, сквозь тяжелый сон почувствовав, как холодит его щеку мокрый край слежавшейся подушки.

«Господи, Боже мой!» – сказал он про себя.

И тут, как будто услышав его зов, пришел и сел на стул возле кровати Агашки кто-то в белом халате, по всей видимости – врач, который очень редко заходил в палату, а уж о том, чтобы он здесь присел к постели больного, и речи не могло быть, никогда такого не случалось.

Агашка, словно растворяясь в полусне, будто медленно, плавно, как лунатик, как сомнамбула пробираясь в тумане по узкой дорожке между сном и явью, чуть удивился, вяло, не открывая глаз, еще раз произнес про себя, как молитву.

«Господи, господи», – сказал он про себя.

– Ну, что? – недовольным тоном спросил некто в белом халате.

«Хочу, чтобы мне было пять лет, хочу начать сначала», – подумал Агашка.

– Вот еще! – тихо возмутился некто в белом халате. – Нет, не тот, другой, – сказал он, обращаясь к кому-то у себя за спиной, кого Агашка не видел, – не экономь на копеечных шприцах, сколько говорить...

Через минуту он ощутил укус укола в руку и увидел, еле разлепив глаза, женщину, с брезгливой миной на лице зажимавшую пальцами нос от вони Агашкиной постели, женщину в распахнутом светло-зеленом халате медсестры, под которым виднелась ярко-красная блузка.

«Девушка в красном...» – подумал Агашка и не закончил, потому что врач неожиданно опередил его.

– Дай нам, несчастным, – сказал врач вторую часть фразы, тихо, интеллигентно рассмеялся и не совсем понятно для Агашки продолжил. – Конечно – несчастным,

столько работы, и по выходным дням покою нет, вызывают... И лучше б дали нам, несчастным, такая прибавка не помешала бы.

Медсестра не отвечала, занятая своим делом.

«Да: нам, несчастным, – подумал про себя Агашка. – Как раньше, в юности, в школе...»

– Пожалуй, заберу его, – сказал врач, непонятно к кому обращаясь, потому что медсестра, сделав укол и прибравшись, вышла с металлической ванночкой в руках, куда побросала сломанные ампулы и шприц.

«Нет, подождите, я не хочу! – мысленно крикнул Агашка. – Я же не всегда был таким, правда? Во мне же было хорошее, много хорошего, куда же это делось, куда все это подевалось, куда я это потратил? Ты же должен знать, Господи, на то ты и Бог. Почему это ушло, или ты сам это сделал? Но почему, почему?! Сейчас я мог бы вернуться, помоги мне. Ты должен поддержать, ты же не хочешь творить плохих людей, не хочешь видеть свое творение гадким, каким был я. Ты не помог мне тогда, помоги сейчас. Помоги мне, сотвори меня вновь. Я хочу вернуться, я хороший и теперь всегда буду хорошим, потому что много еще хорошего осталось во мне нетронутым, нерастраченным. Ты все знаешь, ты мудрее, почему же ты не направил меня? А то, что я в тебя не верил, разве меняет дело? Ведь ты над всеми, и верующими, и неверующими, все твои дети. Помоги мне, направь меня, верни меня...»

– Поздно, ты сам выбрал, – сказал врач в дорогой мобильный телефон, которые в те годы были еще в новинку в городе. – Заберу.

«Не хочу», – повторил уже слабее Агашка.

И в то же время почувствовал, что душа его растет, ширится, раздувается, как воздушный шарик, сначала скомканный крохотный комочек, вялый, никчемный, жалкий, раздуваясь, становится большим, красивым, ярким, огромным, радует глаз, может летать и улетит, если не держать его за нитку, и уже никчемным его не назвешь, он – воздушный шар, который всем нравится и который может летать, как заново рожденная душа Агашки, слишком поздно избавившаяся от тяжелого груза мерзостей. И, почувствовав эту новую, возрожденную свою душу, он засмеялся про себя и заплакал. Где же ты была все эти годы, почему не приходила, не прилетала, оставила меня одного, без тебя, оставила без себя. Я бы любил и лелеял, я бы очень гордился, что ты у меня есть, я бы тогда любил и брата, и мать, и была бы у меня любимая женщина, и я любил бы всех, и любил бы всё: и деревья, и цветы, и кошек, и собак, и товарищей своих, и улицы, и дома, и свой город, и людей, и Бога. Где же ты была, зачем ты так поступила со мной? И сейчас ты вернулась, когда, не успев начать жить, когда я... когда мне...

– Ладно, – оторвавшись от телефона, сказал врач, обращаясь к вернувшейся в палату медсестре в красной блузке. – Накройте его и вызовите санитаров с каталкой.

Потом вновь приложил телефон к уху, послушал, что ему говорили, и рассмеялся весело.

Медсестра подошла, зажав нос, к постели Агашки и встретила его пристальный взгляд, устремленный прямо ей в глаза. Она вздрогнула.

– Доктор, – тихо проговорила она. – Он жив.

Врач услышал, обернулся к предполагаемому трупу больного, отключил телефон, подошел и потрогал пульс на шее Агашки.

– Вот это да! – проговорил он задумчиво. – А я чуть было не отправил его в морг. Смотрю – глаза закатились и не дышит.

– Но теперь он дышит, – сказала медсестра.

– Да, теперь дышит, – сказал врач смущенно, не зная, как загладить свою оплошность. – Ну, и слава Богу. Пусть дышит.

Агашка выкарабкался и стал жить дальше. Пролежав в больнице определенный срок, он был выписан домой с целой кучей врачебных предписаний: уколы, лекарства, правильное питание, полупостельный режим. Но он не стал всего этого делать. Теперь он понял главное, точнее – почувствовал нечто главное. И не хотел продлевать срок жизни, отпущенный Богом. Он знал, что ему недолго осталось, и это оставшееся он хотел прожить, как никогда еще не жил – тихо, незаметно, как тень, так, будто его вовсе и нет на этом свете. Он просыпался поздно утром, не помня, что ему снилось, шел в маленький скверик недалеко от дома и сидел там почти до сумерек, когда игроки в нарды и домино на соседних скамейках заканчивали игры из-за наступающей темноты. Тогда он тоже поднимался и шел домой, слегка опираясь на трость, чуть прихрамывая на левую ногу, которая еще не совсем восстановилась после инсульта. Дома он машинально включал телевизор, садился перед ним и машинально что-нибудь ел, не ощущая вкуса, и смотрел на экран, не вникая в то, что там происходит в чужих, придуманных жизнях. Он постоянно о чем-то думал, но если б его спросили, о чем в эту минуту он думал, он не мог бы ответить. Была небольшая радость от мысли, что завтра опять, если будет хорошая погода, он отправится в скверик, будет тихо сидеть на скамейке и смотреть на пожилых людей, играющих в домино, будет молча слушать их разговоры, и отвечать улыбкой, когда они станут обращаться к нему. Изредка такое случалось, когда то один, то другой из стариков в сквере что-то спрашивал у Агашки, но так как он никогда не отвечал, то его вскоре оставили в покое. Он теперь мало разговаривал, и все о чем-то думал. Он жил на свою маленькую пенсию по инвалидности, а деньги, нажитые и скопленные за все годы, он с легкой душой отнес в мечеть и, отдавая крайне удивленному такой большой суммой пожертвования служителю веры, предупредил:

– Эти деньги нажиты несправедным путем, распорядитесь ими, как считаете нужным.

И ушел, провожаемый взглядом опешившего моллы, оставленного с увесистым пакетом в руках. Ему было безразлично – раздадут ли его деньги нищим и неимущим, или присвоит администрация этого дома Аллаха.

Нельзя сказать, что он стал верующим, хотя временами он вспоминал, как в больнице, испуганный до смерти, обращался к Богу. Но нет, он не стал верующим в полном понимании этого слова, не молился, не соблюдал пост, не ходил в мечеть и больше не тревожил Бога проблемами, касающимися исключительно своей персоны. Но он глубоко ушел в себя, все чаще заглядывал в свою обретенную душу и неосознанно, бездумно, не будучи уверен, что такое может произойти с ним – хотел там встретить Бога.

Ложась спать, он думал, что завтра будет сидеть в сквере среди тихих старичков, смотреть на детишек, играющих тут, смотреть на кусты, обрамляющие сквер по периметру, залитые солнцем, смотреть на машины, проезжающие мимо, смотреть, созерцать и остро ощущать течение жизни, приближающее его к концу, течение, которому он никогда раньше не придавал значения.

ЭМИЛЬ АГАЕВ

Хорошо зимой на даче

Уже который день Баку содрогается от снежного нашествия, от холода, о чем я и писал уже в очерке «Зима тревоги нашей».

А у меня на даче – тьфу-тьфу, не взглянуть! – проблема только одна. Замерзли трубы, по которым из колодца подается вода в бак, так что приходится для умывания и технических нужд пользоваться питьевой водой, которую покупаю в магазине.

А так...

Выхожу на балкон. Морозец пощипывает щеки, но свежий воздух без единого микроба вливается в легкие. Взяв лопату, расчищаю дорожку к воротам. Только что выпавший снег еще не успел набрать земной грязи, чист и мягок, как пух.

Тишина и покой. Благодать!

Прорыв в независимость

Вы хотите, наконец, истинной, РЕАЛЬНОЙ независимости? Совет, который даю всем: живите за городом, постройте там СВОЙ ДОМ.

Лично я вот уже несколько лет живу на даче, которую (спасибо энергии и организаторским способностям жены, работавшей прежде в Институте строительства и архитектуры!) мы успели построить до того, как снесли наш бакинский дом, принесенный в жертву так называемому «Зимнему саду». А иначе – где бы мы сейчас жили (комПЕНСации хватило только на то, чтобы вместо трехкомнатной квартиры в архитектурном доме в центре города купить...одну комнату в окраинной высотке, которая к тому же еще только строится!).

Так что первое, что нужно – это СВОЙ ДОМ, не относящийся ни к какому дурацкому ЖЭКу и не подпадающий ни под какой дурацкий проект городского переустройства. Второе – СВОЯ ВОДА, не имеющая никакого отношения к полуанекдотической организации под названием «Азерсу». Колодца, который мы вырыли, хватает для полива деревьев и коммунальных нужд, питьевую же воду покупаем, как я уже говорил, в магазине, твердо зная – никакой хлорки!

Правда, с приобретением участка, у кого его нет (лично мне он достался от отца, светлая память ему!), и со строительством дома с городскими удобствами много хлопот, да и колодец надо регулярно чистить, и трубы, как оказалось, надо утеплять, дабы не замерзали.

Да и о полной нашей житейской независимости, если честно, говорить пока рано. Ведь помимо перечисленного выше первого и второго есть еще и Третье, Четвертое. А именно – Газ и Свет. Тут мы все еще «на крючке» (а точнее – в сетях, в которых, когда лампочки или конфорки на плите гаснут, барахтаемся, как и горожане, наподобие попавшейся в сети рыбы!). Ну, а если это происходит в холода, как сейчас, то и вовсе плохо. Модное отопление типа «комби» удобно, но без света и газа – и оно мертво!

Вопль о помощи

Мне скажут: ПРОРЫВ В НЕЗАВИСИМОСТЬ возможен и здесь – независимости от других наших монстров типа «Азерэнержи» и «Азеригаза». Это – солнечные батареи и другие аль-

тернативные, возобновляемые источники энергии, освобождающие от привязки к какой-либо «сети», подобно мобильному телефону.

Но все это, мягко говоря, недешево, а потому существует для нас – пока! – больше чисто технически, теоретически!

Хотя я своими глазами видел в Мюнхене, где жил у немецких друзей, как в один прекрасный день пришел человек в фирменной куртке и стал отсчитывать им марки – тогда еще были марки. Я подумал – перевод. Оказалось, нет – это служащий энергетической компании пришел выплатить энную сумму денег, поскольку энергия, вырабатываемая солнечными батареями и еще чем-то там, установленными самими жильцами на крыше дома, поступает в общегородскую сеть!

Вы можете представить себе такое? Чтобы «монтер», как мы называем обходчика «Азербээнерджи», принес вам не очередной счет за свет, а вместо него, наоборот, деньги! Увы... А ведь в мире это есть, и уже давно!

...Только что прочитал с содроганием в сердце на одном из сайтов: «Замерзаем! С того дня, как пошел снег, свет у нас не горел и часа! Мыслима ли такая мука? Если свет не зажжется и сегодня, то все мы, члены семьи, просто умрем от холода!».

Этот вопль о помощи исходил от жителя поселка Гюздек Абшеронского района.

А ведь этот житель мог бы перестроить свой дом с учетом всех тех современных технических новшеств, о которых я говорил выше.

Увы, для этого у всех у нас не хватает если не денег, то воображения, фантазии. Просто бытовой культуры!

От Петра и дальше

Прочитал: дачи на Руси придумал Петр Первый. Правда, и до него цари жаловали дворян поместьями, с чего и пошло строительство городского типа жилья, даже дворцов, среди крестьянских изб. Но Петр, подозревая всех, включая ближайших соратников, в тайном увлечении старыми порядками, проблему решил со свойственным ему размахом. Свежевыбритые чиновники получили от царя земли в двух шагах от городской черты, а Петр – возможность приглядывать за министрами, проезжая налегке в Петергоф.

Настоящий же дачный бум начался с появлением разночинцев и первых проявлений капитализма в Российской империи, в том числе и в Азербайджане – благодаря бакинскому нефтяному буму (дворцы миллионеров в Мардакане и не только там). Традиция прервалась, когда дачную идиллию смел ветер революции. Труд и отдых нового, советского человека был строго регламентирован – появились первые сотни фанерных домов для трудящихся.

Однако уравнилительно-революционный порыв продержался недолго. Уже в тридцатые годы номенклатура за государственный счет отстраивала себе дворцы, так что в суровом 1938 году даже вышло постановление Политбюро, ограничивающее для нее количество комнат – восемь для семейных, пять для одиноких, что для большинства жителей СССР было таким же облачным явлением, как и жизнь на Марсе.

Более того. По рассказам отца, в селении Тюркан, как и в других поселках на Абшере, власти отняли у местных жителей небольшие земельные участки с виноградниками, инжиром, тутом, создав вместо этого колхоз. Мирджафар Багиров полагал, что его примеру последуют и в Грузии, Армении. Этого не произошло, колхоз развалился, а сады погибли...

В 1960-1970-е годы, когда в партийные головы пришла идея предоставить народу право самим выращивать себе еду, дачное движение возродилось. Наложив запрет на товарное производство, но позволив выращивать на «шести сотках» личный картофель, Политбюро, казалось, решило проблему нехватки продовольствия, заодно сыграв на струнах среднестатистической советской души, по преимуществу бывшей крестьянской.

Однако в результате вместо советского «раба трудодня» стал возрождаться собственник. Де-юре в СССР собственности не существовало, де-факто класс уже стал нарождаться. И кто знает, какую роль в распаде советской системы сыграли политически, казалось бы, безобидные, но зато в поте лица успешно хлопотавшие у себя на участке дачники...

И вот – очередной виток. После распада СССР поначалу гибнут цветочные теплицы Абшерона, требовавшие много газа (а газа не хватало!), в упадок приходят дачные хозяйства вообще. Однако вскоре на бросовых землях стали появляться первые виллы новых азербайджанцев – это было выгодным вложением черного капитала. Эти виллы, в основном, пустовали (пустуют и ныне!).

И, наконец, заключительный этап. «БЕГСТВО» НА ДАЧИ из Баку оставшейся интеллигенции (со сдачей городских квартир в аренду, чтобы как-то жить). Однако понятие дачи меняется на корню. Здесь если что-то и еще и выращивают, то только для себя (экология!). Старые же сады – виноградники-инжирники – остаются чаще всего без присмотра, хотя как-то где-то еще плодоносят.

(К этой теме – теме садоводства и огородничества – я еще вернусь).

Дача сегодня – это уже не только место для летнего отдыха и обретения внутреннего равновесия. Каждый, как может, ремонтирует старые домишки или строит новые с тем, чтобы жить там постоянно.

Это уже, по существу, не дача – РОДНОЙ ДОМ!

ГдеЭтотДом.

Так называется один из сайтов в интернете. В нем пишут, что 63 процента москвичей хотят жить на дачах, правда, не уточняя, работают ли они и живут ли на дачах на самом деле. И вопрос – в чем плюсы и минусы такой жизни. И вообще – можно ли жить на даче (инерция все еще старых, сезонных представлений о даче)?

И вот ответы:

– У меня регион другой, но сил нет, как хочется жить именно на даче, а не в городе! В город если до 7 утра не въедешь, попадешь в жуткие пробки и на работу опоздаешь стопудово! Но жертвуем сном по понедельникам, встаем в 4.30 – 5 утра, чтоб поехать после выходных на работу – лишь бы провести на даче побольше времени. Теперь жена даже говорит: быстрее бы пятница – и ДОМОЙ! Квартира в городе уже как перевалочный пункт...

– Я за дачную жизнь! Живу на даче уже 7 лет. Работаю в центре Москвы. Правда, от Медведково добираюсь на метро. На дорогу каждый день трачу 4 часа (2 туда и 2 обратно) – это с пробками. Но в город обратно не хочу. На даче лето при любой погоде – это лето, зима – как зима, в городе такой не увидишь.

– Да, можно жить, я живу, у меня клево!

– Если на даче печка, то ОООООООООООО ДААААА!

– Можно там даже прописаться и жить круглый год, если есть соответствующие условия, в частности, отопление.

– Бывает у вас непонятное желание выйти в сад, уже в темень, по снегу, подальше от дома, совсем одной, когда нет никаких звуков и просто стоять и созерцать эту тишину? На меня действует удивительно умиротворяюще. Молчи. Смотри на звезды и цени то, что ты живешь!

– Очень даже бывает, вчера только выходили и смотрели. Небо чистое, луна яркая, звезды сияют, сугробы переливающегося девственного снега. Дом с желтыми от света окошками, дымок из трубы и тишина... Такой тишины в городе никогда не найдешь.. В Киеве на «Чайке» живут 80% «дачников», та же ситуация в кооперативах на Стеценко и в районе Интерплощади

– Количество проживающих зимой выросло на 300%. Оторванности от цивилизации не чувствую, нынешним летом даже, наоборот, устала от гостей, людей, хочется еще дальше забраться.

– Квартирный вопрос омичи решают по-разному: кто-то берет ипотеку, кто-то ютится с родителями, но есть и те, кто предпочитает жить... на даче. Круглый год. Корреспондент «АиФ в Омске» попытался выяснить, есть ли перспективы у подобного решения жилищной проблемы, когда дача – дом родной. Выяснил – есть!

«Место постоянного проживания – дача»

Так называлась статья в «Зеркале» пятилетней давности, где рассказывается о том, как обстоят дачные дела в Мингячевире.

Число семей, переезжающих на постоянное местожительство в дачные поселки, здесь растет, более 10 тысяч человек живут в дачных домах Мингячевира (данные на июнь 2009 года).

А вот информация АПА – о том, сколько иностранных граждан приобрели в Азербайджане недвижимость, в том числе и земельные участки.

Рост числа населения на дачах, утрата актуальности уставов старых садоводческих организаций говорят в пользу принятия соответствующего законодательства. Как и – реализации, наконец, объявленного президентом принятия на учет незаконно построенного жилья (в основном, это – за городом).

Одно время в Милли Меджлисе был обсуждался подготовленный депутатами проект Закона о дачном хозяйстве. Но вместо закона на свет появился указ президента о ликвидации трестов дачного хозяйства, однако появившиеся затем структуры пока не в силах решить проблемы дачников. Затем появились поправки, предусматривающие возможность государства отбирать дачные участки у тех, кто их не использует, забросил, но президент наложил на них вето. Очевидно, учитывая реакцию населения, как и саму актуальность дачной тематики...Во-прос, увы, не закрыт.

Одноэтажная Америка?

Помните эту нашумевшую в свое время книгу авторов «Двенадцати стульев». Пришедшая с распадом СССР мода на жилье за городом усилилась вместе с отказом государства строить и предоставлять бесплатно квартиры трудящимся. Ну, а нашествие на Баку автомобильной «саранчи», пробки, как и буйное, хаотическое градостроительство – все это, ну, просто подхлестывает людей уезжать из города.

Благо коренным образом улучшилось качество дорог.

Время, необходимое для того, чтобы доехать из Мардакана до Баку, в принципе, то же, что и время, необходимое для того, чтобы доехать из бакинской спальной окраины до центра – тридцать-сорок минут. Никакой разницы!

Да и с тем же светом-газом – куда как полегчало. Как бы ни критиковали, ни ругали все это, ситуация за последние годы намного улучшилась (особенно в Мардакане-Шувелане, где я живу).

Правда, до американцев нам пока далеко. Не тот уклад жизни (новых азербайджанцев хронически тянет в центр!). Не та мобильность – средний американец меняет свое место жительства на протяжении жизни... восемь раз: дом – на трейлер, и – остановись, где понравится, а это обычно сельское место или небольшой городок; снимаешь свой дом и подключаешь его к имеющимся всюду системам жизнеобеспечения!

Ну, а так... Может, и мы с вами доживем до этого. Ведь зачем глотать бакинский смог, когда до своего места работы в Баку вы можете доехать, повторю, за столько же времени, как и из какого-нибудь микрорайона. Ну, а сколько прекрасных и пока не обжитых мест в нашей глубинке. И не пора ли и их тоже обживать, причем не формально, не по старинке. С учетом мирового опыта – в частности, работы на земле, фермерства, которое пока у нас практически не прижилось.

Вот бы увидеть нам из космоса Азербайджан, освещенный светом из окон жилых домов не только в Баку, не только на Абшероне, в других городских центрах – по всей стране (включая – иншаллах! – и Гарабах).

Мечты, мечты...

ИБРАГИМ ИМАМАЛИЕВ

Разговор на рассвете

**В прохладные рассветные часы
Бакинского распаренного лета
Вдруг ощущаешь дуновенье ветра
И представляешь:**

ты – Дедала сын...

**Дедала сын, представь себе, малыш...
И у тебя невидимые крылья,
И, кажется, еще одно усилие –
И ты вдогонку ветру полетишь!..**

**А вокруг тебя творится благодать –
Рожденье мира, или зарожденье...
И этот вот вселенский день рожденья
Неплохо бы нам каждый день встречать.**

**Ах, как бы мне хотелось вечно жить
И смаковать тут каждое мгновенье!
Не думать, что там ждет за прегрешенья,
И безоглядно и грешно любить...**

**Любить. Любить, любить, любить... Любить!..
Пусть это будет главная молитва.
Мы за Любовь не проиграли битву.
Мы будем жить –**

и так тому и быть!..

**...В прохладные рассветные часы
Бакинского распаренного лета
Вдруг ощущаешь дуновенье ветра
И понимаешь: ты – Дедала сын...**

Зимний романс

**Снег запер нас в моем доме,
След вел в объятья друг друга...
Нет звуков, шепота кроме,
Свет гасит поздняя вьюга.**

Скрипач

Памяти Ровшана Велиева

Вновь к усталой щеке прижимается верхняя дека.
Может, в тысячный раз тут смычком

извлекается гамма...

То не скрипка поет – это плачет душа человека,
Так качают ребенка, баюкая, папа и мама...

Воплощенная в звуки, растрочена жизнь по мгновеньям.
Растворившийся в воздухе звук – эфемерное что-то.
Кто ответит, во что оценить глубину вдохновенья,
Чем измерить души высоту

или скорость полета?!

Высший свет, проникающий в душу того, кто услышит,
И сердца, что наполнены счастьем, тобой сотворенным...
В оправдание Дара и Жизни, дарованных Свыше,
Вам со скрипкой таскаться повсюду,

как приговоренным.

И у нас, как везде, незавидная участь таланта –
Жадно воздух глотать в атмосфере его разреженья!
Только-только вздохнешь,

как у лада судьбы доминанта

Устремляется ввысь и мучительно ждет разрешенья.

Изменяет нас жизнь. Изменяют нам мелкие люди...
Измеряют успех пошлой цифрой в суммарном доходе.
Но одно неизменное было. И все-таки будет.
Уникальность Того,

кто когда-то пришел и – уходит...

Песенка о себе

Со дна моего колодца я наблюдал свое небо.
Думал, это – весь космос, и насчитал две звезды...
«Клуб» обожал «путешествий», а сам-то нигде так и не был –
Раб безопасных досугов и виртуальной езды!..

Ладонью удерживал стрелки, чтоб тормозить свое время.
Питался иллюзией жизни вместо того, чтобы жить.
И так, ничего не посеяв, растрачивал попусту семя,
И сердце свое сберегая, боялся, увы, полюбить...

Я упросил свою память – все, что плохое, не помнить.
А все, что может поранить, в толстую ткань завернул.
Мне б самую лучшую песню успеть сочинить и исполнить,
Чтоб кто-то, ту песню услышав –
вздыхнул бы, а, может, всплакнул...

Американский блюз

Самый страшный грех – убийство любви,
Да еще – ненависть!
Раз предал любовь – назад не зови.
Не ищи. Нету ведь...
Истрепался в дальних странствиях бриг –
Не искал пристани.
Куролесил он, азартный старик,
Жизнь на кон выставив.
И выходит, что проиграл он жизнь,
Заплатил дорого.
С шулерами ты не рядись, не вяжись –
Обдерут донага!..
«В лотерею любовь не купить, не продать...»
Это всё – розыгрыш?!
А захочешь в эту игру сыграть,
Получай проигрыш!
Ну, а если вдруг тебе повезло,
Выпал шанс – «Very good!»
Ты хватай двумя руками весло
И гребь к берегу.
Там ведь ждет тебя прекрасная мэм,
Дом большой с детками,
Что растут на отца похожие всем,
Вот и дверь с метками...
Ты вот их любовь к себе не предай –
Рвись домой со всей силою!
На родной земле свой маленький рай
Ты создай с милою!..

АЛЯ АЛЬ-АСУАНИ*

РАССКАЗЫ

Перевод с арабского Сарали ГИНЦБУРГ

Иззат Амин Искандар

Иззат Амин Искандар был моим одноклассником в первом приготовительном классе. Был он маленького роста, сильный и ширококостный, а его крупную голову покрывали черные шелковистые волосы. На лице его навсегда поселилась мягкая, почти смиренная улыбка, а за очками скрывался этот особенный взгляд, характерный для коптов: в нем сочетались хитреца, напряжение и даже почти испуг. Иногда такой взгляд становится очень глубоким и покорным, с оттенком виноватости и всепоглощающей несчастливости его обладателя. А еще у Иззата были искусственная нога и костыль. Костыль заканчивался резиновой набойкой, которая смягчала стук при движении, а также предотвращала скольжение, а искусственная нога была спрятана под штаниной школьных брюк, носком и ботинком, так что выглядела почти нормально.

Каждое утро Иззат заходил в класс, хромая и опираясь на костыль. Пока он шел до своего места, его искусственная нога волочилась позади и немного раскачивалась из стороны в сторону при каждом шаге. Место Иззата было рядом с окном; сев, он обычно клал рядом с собой костыль и не обращал на него внимания до конца урока. Он полностью погружался в занятия, тщательно записывал все, что говорил учитель, внимательно слушал, из-за чего брови его хмурились, поднимал руку, чтобы задать вопрос, как будто таким образом он мог незаметно проникнуть в коллектив, затеряться среди нас и стать хоть на несколько часов простым школьником, не отмеченным ни искусственной ногой, ни костылем.

Когда раздавался звонок на перемену, все ребята заметно приободрились. Они бросали на парты все, что держали в своих руках, и наперегонки выбегали из класса, часто сталкиваясь друг с другом в дверях и пытаясь как можно быстрее очутиться на школьном дворе. Только Иззат Амин Искандар воспринимал звук звонка как неизбежное свершение ожидаемого и древнего пророчества; он закрывал тетрадку, вытаскивал из сумки сэндвич и комиксы и проводил перемену, не двигаясь с места. Если же кто-нибудь из товарищей подходил к нему, чтобы продемонстрировать любопытство или даже жалость, Иззат широко улыбался ему, не отрываясь от книги, как бы показывая, как же ему на самом деле хорошо и интересно, будто единственная вещь на этом свете, удерживающая его от игр на школьном дворе – это чтение.

В тот день я впервые взял в школу свой велосипед. Это была вторая половина четверга, и на школьном дворе не было почти никого, кроме нескольких ребят, играющих в футбол. Я стал кататься на велосипеде. Я колесил по двору, выписывал круги вокруг деревьев, представляя себя велогонщиком и крича во весь голос: «Дамы и господа, поаплодируем участникам Всемирного Чемпионата по Футболу!» В своем

*Современный египетский писатель, автор многочисленных статей о литературе, политике и социальной сфере, опубликованных в различных египетских газетах.

воображении я уже видел публику, важных гостей в первых рядах и даже гонщиков, с которыми я должен был соревноваться. Я слышал крики и свист болельщиков. Я всегда занимал первое место, пересекая финишную прямую раньше остальных; в меня летели букеты цветов, мне слали воздушные поцелуи и скандировали поздравления. Я продолжал играть таким образом какое-то время и вдруг неожиданно почувствовал, что за мной наблюдают. Обернувшись, я увидел Иззата Амина Искандара, сидящего на ступеньках, ведущих в школьную лабораторию. Он наблюдал за мной с самого начала, и когда наши глаза встретились, он замахал мне рукой и улыбнулся. Я направился к нему, а он тем временем принялся вставать: для этого ему пришлось опереться одной рукой о стену, схватиться другой за костыль и засунуть его подмышку. После этого он стал медленно поднимать свое тело: когда, наконец, оно выпрямилось, Иззат стал медленно спускаться по ступенькам. Подойдя ко мне, он стал внимательно изучать велосипед. Подержавшись за руль, он несколько раз нажал на звонок, потрогал пальцами спицы на переднем колесе, тихо приговаривая: «Отличный велик». Я быстро ему ответил: «Это Ралли-24, спортивные колеса, три скорости». Он еще раз взглянул на велосипед, как будто проверяя мои слова, и спросил: «А ты умеешь ездить без рук?»

Я кивнул и нажал на педали. Я прекрасно катался и был рад похвастаться перед ним своим мастерством. С силой нажав на педали, я разогнался до максимальной скорости и почувствовал, как велосипед подо мной затрясся. Тогда я отпустил руль и поднял руки вверх. Проехав так немного, я развернулся и подъехал обратно к Иззату, который уже сделал несколько шагов к центру двора. Затормозив перед ним, я спросил: «Ну, что – убедился?»

Он не ответил мне, просто наклонил голову еще ниже и стал рассматривать велосипед так, как будто он принимал какое-то очень важное решение. Потом он с силой ударил костылем по земле и сделал шаг вперед, так что оказался совсем рядом с велосипедом. Схватив руль, Иззат повернулся ко мне и прошептал: «Пожалуйста, позволь мне прокатиться» и продолжал настойчиво повторять: «Пожалуйста, пожалуйста». Я не поверил своим ушам и уставился на Иззата. В тот момент он выглядел как человек, которого охватило такое желание, что он просто не мог остановиться; не получив никакого ответа, он принялся с силой трясти руль и теперь уже со злостью кричать: «Я сказал, дай мне прокатиться!» Он попытался запрыгнуть на велосипед, мы оба потеряли равновесие и чуть не упали.

Я уже не помню, о чем я тогда думал, но что-то словно подтолкнуло меня, и в следующий момент я уже помогал ему залезть на велосипед. Он тяжело оперся на меня и на костыль и после нескольких попыток смог подтянуться и сесть в седло. Он собирался задрать искусственную ногу вперед так, чтобы она не задевала одну педаль, а здоровой ногой быстро крутить вторую. Это было очень сложно, но, как оказалось, реально. Иззат наконец устроился, а я, держа одной рукой велосипед за седло, осторожно толкал его вперед. Когда велосипед покатился, а Иззат приноровился крутить педаль, я отпустил его. Иззат начал терять равновесие и накренился на один бок, однако сумел вернуться в первоначальную позу, выпрямился и поехал ровно. Ему приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы нажимать на педаль одной ногой, пытаясь при этом сидеть ровно, однако проходили секунды, велосипед медленно ехал вперед, и вот Иззат проехал большое дерево, а затем и киоск при столовой. Я хлопал в ладоши и кричал: «Какой же ты молодец, Иззат!»

Он продолжал двигаться прямо и уже почти достиг конца двора, где нужно было сделать поворот, что меня испугало. Однако ему удалось сделать это осторожно и плавно, и когда он возвращался, то уже выглядел уверенным в себе и полностью

контролирующим движение – он даже один раз смог переключить скорость, а потом и еще раз, при этом волосы его развевал ветер.

Велосипед теперь быстро летел вперед, Иззат уже миновал тропинку между деревьями, и его силуэт появлялся и исчезал между густой листвой. У него получилось, и я смотрел, как он летел, как стрела, подняв голову, а его громкий крик эхом разносился по двору, как будто он долго ждал этого момента, чтобы наконец-то вырваться наружу: «Смотрииии! Смотриииии!»

Немного позже, когда я подбежал к нему, велосипед лежал на земле, его переднее колесо все еще крутилось, сверкая спицами, а темного цвета искусственная нога в носке и ботинке, пугающе пустая изнутри, лежала далеко от его тела, как будто ее только что отрезали, или как будто это было некое существо, живущее своей, независимой жизнью. Иззат лежал лицом вниз, его рука сжимала место, где была ампутирована нога; темное пятно быстро расползлось по порванной штанине. Я позвал его, и он медленно поднял голову. Лицо его и губы были в порезах, без очков он выглядел странно. Он посмотрел на меня, как будто собираясь с мыслями и спросил, слабо улыбаясь: «Ну что, ты видел, как я прокатился?»

Беды хаджи Ахмада

Хаджи Ахмад вернулся домой после того, как совершил в мечети дополнительную молитву месяца Рамадана, и сел смотреть телевизор, дожидаясь, пока его жена, хаджи Даулят, позовет его есть сухур¹. Наконец хаджи Ахмад медленно поднялся, сел за стол, засучил рукава своей галабии, произнес «именем Бога, Милостливого и Милосердного» и приступил. Он начал со стакана теплого лимонного сока, который должен был одновременно играть роль дезинфицирующего препарата для пищеварительной системы, а также подготовить желудок к предстоящей работе, чтобы еда на застала его врасплох. В это же время служанка-филиппинка шла по коридору и несла поднос с едой в комнату хаджи Аззама, престарелого отца хаджи Ахмада, жившего с ними вот уже два года.

Хаджи Ахмад протянул руку, оторвал большой кусок от горячей, только что из печи слоеной лепешки, плавающей в масле, и погрузил ее в тарелку с бобами, которая стояла рядом. Бобы прошли сложный кулинарный процесс: сначала их тушили на медленном огне, затем лушили, потом размяли их в пюре и смешали с кусочками помидоров и наконец подали на стол с правильным количеством кукурузного масла, лимона, перца и тмина, что превратило их в изысканное блюдо, достаточно плотное для того, чтобы выдержать целый день поста. Хаджи блаженно прикрыл глаза и стал медленно жевать, подобно виртуозу, играющему на своем инструменте для разминки незатейливую мелодию перед тем, как подарить этому миру симфонию.

– Благослови тебя Бог! – умиротворенно пробормотал хаджи Ахмад, пережевывая еду.

– И тебе доброго здоровья, – отвечала ему жена.

Хаджи уже решил, что после бобов он отдаст должное омлету с петрушкой, стоящему справа, и запьет его стаканом холодного асуанского каркаде, оставив таким образом достаточно места для нескольких вареных яиц, которые он собирался съесть прямо так, без хлеба, дабы не потерять полностью аппетит и быть в состоянии отведать и десерт, состоявший из рисового пудинга. Застывшая молочная поверхность

¹ Сухур – предрассветная трапеза во время Рамадана.

пудинга была изысканно украшена кокосовой стружкой.

Однако как только хаджи Ахмад протянул руку за вторым куском лепешки, раздался пронзительный душераздирающий крик. Хаджи Даулят подпрыгнула в испуге, ее кресло с громким стуком опрокинулось на пол, и муж поспешил ей на помощь настолько проворно, насколько это ему позволяли ревматизм и лишний вес. Филиппинская служанка застыла у входа в комнату хаджи Аззама, ее азиатское лицо выражало ужас, комната же была наполнена тяжелой тишиной. Хаджи, когда он зашел туда, показалось, что воздух в комнате тяжелый и затхлый. Он увидел своего отца, вытянувшегося на кровати, его беззубый рот был открыт, а глаза смотрели в пустоту, на старом морщинистом лице застыло удивленное выражение, как будто встреча с Вечностью стала для него сюрпризом.

Хаджи Аззам был мертв, и Даулят испустила громкий протяжный крик, чтобы оповестить таким образом соседей о случившемся несчастье, а ее муж бросился на тело своего отца и уткнулся лицом в его грудь, заходясь в рыданиях, как маленький ребенок. Когда он пришел в себя, комната была пуста; он поднялся, отер рукавом слезы и прочел аль-Фатиху. Затем закрыл покойнику глаза и рот, накрыл с головой простыней и отправился звонить по телефону, чтобы сообщить печальную весть родственникам и знакомым.

Часом позже хаджи Ахмад, успевший переодеться в костюм, сидел, окруженный пришедшими выразить соболезнование, в кабинете, а служанка-филиппинка обносила собравшихся подносом с холодной водой и кофе. Сначала пришли соседи, после – дети усопшего.

Хаджи Ахмад привык справляться с тяжелыми ситуациями. Он был самым старшим ребенком, а работа строительным подрядчиком научила его прибегать к здравому смыслу и закалила его нервную систему. Помогали и его глубокая религиозность и хорошая осведомленность в вопросах веры. Вот он сейчас сидит с гостями – молча, с низко склоненной головой, на лице одновременно написаны горе и смирение, что выдает по-настоящему верующего человека. В отличие от остальных, хаджи Ахмад не плачет и не бьется в конвульсиях, но горе скалой давит на его бедное сердце, взгляд печален, а губы шепчут стихи из Книги в надежде, что это как-то уменьшит боль. Сегодня хаджи должен был думать только о своем отце, вспоминать, как тот заботился о своих детях, жертвуя ради них всем, как, до конца исполнив свой долг, он готовился предстать теперь перед Всевышним. В какой-то момент он поднял голову, чтобы потянуться и хрустнуть шеей (обычная, ничего не значащая привычка, вроде той, как поигрывать ремешком от часов или во время разговора крутить свой ус двумя пальцами). Однако именно этот жест заставил хаджи посмотреть на часы, висящие на стене. Было полчетвертого утра, и когда хаджи Ахмад снова наклонил голову вниз, что-то изменилось и стало щекотать его мозг как маленькая, противная соломинка. Хаджи попытался вновь погрузиться в тягостные размышления, но ничего не вышло. Соломинка продолжала щекотать его изнутри, пока он не понял: он еще не поел. Беда нагрелась, когда он едва успел проглотить ложку еды, теперь же до первой утренней молитвы оставалось около четверти часа и голодный желудок хаджи требовал пищи. Дело было в том, что хаджи был голоден, очень голоден.

Осознав это, хаджи Ахмад смутился, даже испытал стыд. Он себя презирал. «Ты хочешь, – говорил он себе, – набить себе брюхо сейчас, когда твой отец умер лишь час назад? Неужели ты не можешь перетерпеть голод хоть один день из уважения к тому, кто воспитал тебя и сделал состоятельным человеком? Души мертвых могут слышать и видеть, и, возможно, душа твоего отца смотрит на тебя с грустной улыбкой и презирает тебя за неблагодарность. Как же быстро ты перестал скорбеть

и обратил помыслы к омлету и бобам?» Хаджи громко произнес: «Взываю к Богу Милосердному» и резко повернул голову вправо, как будто желая избавиться от дурных мыслей, но Шайтан, да проклянет его Всевышний, хитер. Вот он нашептывает бедняге спокойным, убедительным голосом: «К чему весь этот шум? Неужели сухур считается теперь чем-то предосудительным, или, может быть, это запрещено религией?» Он знал себя слишком хорошо, чтобы думать, что сможет вынести целый день поста без того, чтобы поесть перед рассветом. Если не поест сейчас, то он нарушит пост завтра, а это уже грех! Нужно поесть, потому что предстоящий день будет тяжелым: нужно посетить обмывание, пеленание, похороны... И еще масса других сложностей! Не выдержит он этого на голодный желудок! А тут еще все эти сидящие рядом люди и всего за несколько минут до того, как выстрел пушки возвестит начало нового дня! Неужто они ничего не поели? Были бы голодные, не сидели бы тут такие притихшие! Точно, они что-то перехватили перед тем, как явиться сюда и начать лить слезы по безвременно усопшему. Да он сам, если бы его отец умер где-то в другом месте, непременно бы поел перед тем, как отправиться отдать последнюю дань уважения. Это естественно, и нет в этом ничего такого предосудительного.

Ровно в три сорок утра он, наконец, решился. Оставалось пять минут и хаджи подпрыгнул на месте так, как будто вспомнил что-то очень важное и ринулся прочь из гостиной, бормоча на ходу извинения. Он прибежал по узкому коридору в кухню, где застал свою жену, хаджи Даулят, стоящую безо всякого дела, как если бы она его специально поджидала, и как будто долгие годы совместного проживания научили ее ждать появления мужа на кухне именно в этот момент. Даулят понимающе на него посмотрела. Глаза ее были заплаканы, грустным и дрожащим голосом (она долго тренировалась говорить с дрожью) она спросила: «Хочешь чашку кислого молока?»

Несмотря на все принятые женой предосторожности, ее голос и поза заставили хаджи подумать, что между ними есть какой-то заговор, и он закричал: «Молоко? Какое еще молоко?»

Низко наклонив голову, как будто ей стало стыдно, Даулят вышла из кухни. Когда шаги ее затихли, хаджи Ахмад плотно закрыл кухонную дверь. На мраморной столешнице, рядом с раковиной, стояла тарелка с бобами, из которой он успел съесть лишь одну ложку.

«Административное Распоряжение»

Его полное имя было «дядя Ибрахим». Несмотря на очевидную бедность и бледное лицо, из под расходящихся пол его потрепанной куртки выглядывало солидное брюшко. Средний класс обычно считает такое брюшко медицинским состоянием, при котором показаны диета и физические упражнения, торговые люди видят в нем осязаемый признак посланной свыше удачи, в которой они постоянно нуждаются, для бедняков же брюшко есть и всегда будет просто неким вздутием, которое они носят на своем теле без всякой причины.

Эта бесстыжая часть тела дяди Ибрахима уже привела в негодность полный комплект одежды, купленный ему больничными докторами в прошлом году.

В больничных записях рабочий Мухаммад Ибрахим числится уборщиком с установленной зарплатой ровно в двадцать фунтов тридцать пиастров в месяц, но, поскольку дядя Ибрахим был добрым жизнерадостным человеком, а также потому, что он был чистоплотен (а чистоплотность очень важна), доктора определили его на должность буфетчика, который делает и потом разносит кофе и чай, вместо дяди Салиха, недавно ушедшего на пенсию.

Таким образом, жизнь стала на время очень даже сносной. Учитывая, что у дяди Ибрахима не было иных обязанностей на этой новой работе, кроме как «делать чай и кофе», его чаевые, к тому же, стали составлять больше, чем половину зарплаты. Это позволило ему курить, сколько влезет, покупать галабии и обувь себе и детям (старшему из которых исполнилось десять), а также покупать небольшой кусочек гашиша, что позволяло ему дольше заниматься любовью с женой. Дядя Ибрахим смог даже (и это случилось дважды) заплатить за место в общем такси, когда он опаздывал на работу.

Дядя Ибрахим считал, загибая толстые пальцы: «Пять лет приличной жизни (приличная жизнь означала, что никому из семьи не пришлось просить милостыню), пять лет благодати, за которую мы благодарим Господа». И что бы он ни делал в четверг вечером, а это было то время, когда его жена любила ложиться поздно, дядя Ибрахим всегда приходил в маленькую мечеть по соседству на пятничную молитву, и при этом он приходил туда чисто вымытым, благоухающим и в свежей одежде.

Когда начиналась молитва, дядя Ибрахим охватывал голову руками и опускал глаза. Однажды после вдохновенной речи имама о необходимости совершать милосердные поступки дядя Ибрахим почувствовал некую внутреннюю неловкость и с тех пор завел привычку выбирать в больнице какого-нибудь совсем уж бедного пациента и приносить ему кофе бесплатно.

Дядя Ибрахим был добрым человеком.

Несколькими месяцами позже рабочий Мухаммад Ибрахим получил административное распоряжение, в соответствии с которым ему предписывалось стоять у входа в больницу, и начальник, вручая ему распоряжение, сказал: «Мои поздравления, Ибрахим. Теперь ты в штате охраны». Ибрахим почувствовал в этот момент неясный приступ паники, однако сцена была разыграна и ему пришлось расписаться в получении черной форменной куртки и огромных солдатских ботинок и приступить к ежедневному стоянию у больничных дверей, при этом нужно еще было чинить препятствия посетителям и приветствовать докторов, когда те рассаживались по своим машинам. Весь первый месяц запах чая и горячей воды мучал Ибрахима, и ему не осталось ничего другого, как вновь начать попрошайничать, так что он был вынужден заводить разговоры о болезнях своих детей и о том, как сильно они отстали в школе. При этом улыбки докторов становились прохладными. «На все Божья воля, Он найдет для тебя твой путь, дядя Ибрахим», – говорили они.

Через месяц дядя Ибрахим пошел к своему начальнику и просто сказал: «Я хочу вернуться обратно», однако начальник молча поднял голову и, сняв очки, сказал противным голосом: «Это административное распоряжение, Ибрахим».

На третий месяц Ибрахим сильно изменился. Он перестал приветствовать докторов, когда те рассаживались по своим машинам. Он теперь все время проводил, сидя на своем стуле у входа в наглухо застегнутой форменной куртке. Его лицо приобрело некое застывшее выражение, взгляд стал тяжелый и жесткий.

...Те, кто присутствовал при сцене, рассказывали потом, что пожилая женщина хотела войти в больницу, чтобы навестить своего больного сына. Из-за того, что в этот час посещения не были разрешены, а также из-за того, что женщина продолжала настаивать, дядя Ибрахим в какой-то момент встал со своего стула и направился к женщине, он смотрел на нее какое-то время и вдруг принялся ее избивать.

ГЮЛЮШ АГАМАМЕДОВА

Имитация фасада

Украшательство – одно из любимых занятий людей. Украсить можно все, что угодно: от собственной персоны до зданий, расписанных монументальными фресками. Естественна потребность человека окружить себя приятной глазу средой. Можно предположить, что искусства родились именно из потребности украсить свой быт. В этот же ряд вписывается такой распространенный метод, как имитация. Любое искусство так или иначе подражает природе. Так же и художник – чтобы приобрести мастерство, делает множество копий знаменитых картин. Очень часто процесс обучения строится на копировании учителя. Согласимся, что имитация в некоторой степени является элементом творчества. С одной оговоркой: в том случае, когда она не является самоцелью. У французов есть выражение «*tromper l'oeuil*» – обман зрения. К примеру, нарисованный очаг, в котором горят поленья, в холодной каморке папы Карло, отца Буратино, либо нарисованное окно на здании в городе Таллине, где, по преданию, проходила свадьба дьявола. Не просто красивая картинка, а именно та, что призвана служить обману.

Классический пример такого рода имитации – «потемкинские деревни». Парадокс заключается в том, что имя екатерининского вельможи князя Потемкина чаще всего упоминается в связи с деревнями, вернее, имитацией деревень, выстроенных им вдоль дороги, по которой проезжала Екатерина II. Реже вспоминают о том, что он – завоеватель Тавриды (сегодня Таврида называется Крымом, и эта тема вновь актуальна), а потому любимая государыня присвоила ему титул «князь Таврический». Да и за деревни похвалила. О Потемкине снова вспомнили после присоединения Крыма к России. В 2016 году в Симферополе установили бюст князя Потемкина.

Примеров имитации в нашем социуме довольно много. Обновленные здания со старой начинкой и застарелыми проблемами – всего лишь верхушка айсберга. Один из парижских архитекторов, проезжая по дороге из бакинского аэропорта вдоль бесчисленных декоративных заборчиков, не удержался от замечания: «*cache-misère*», что в переводе означает «скрывающий нищету». Конечно, с ним мог бы поспорить местный обыватель, показав «китайские стены», огораживающие имения местных олигархов.

Возможна имитация, которая со временем может превратиться в подлинник. Это происходит в том случае, когда что-либо изначально заявленное в качестве копии, впоследствии, в силу разных причин, а чаще всего – благодаря высокому мастерству превращается в ценность. Так случилось с камнями ювелира Сваровски. В самом начале своей деятельности его амбиции были достаточно скромными. Он претендовал на создание камней, имитирующих бриллианты. Успех камням и так был обеспечен. Ювелир не пытался выдать свои камушки за настоящие. С самого начала было заявлено, что это имитация. Почти все женщины, за редким исключением, хотят носить бриллианты, но не у всех на это хватает средств. Благодаря его изделиям любая женщина может украсить себя блестящими камушками, очень похожими на драгоценные. Однако ювелир не ограничился имитацией. Ему захотелось большего. И сегодня изделия Сваровски завоевали рынок не в качестве поддельных бриллиантов, а как произведения ювелирного искусства, украшенные необыкновенными, сверкающими камнями всех цветов радуги. Это редкий случай перерождения имитации в подлинник. Любая имитационная модель ущербна по опреде-

лению. По той причине, что ее обязательно будут сравнивать с оригиналом. Парадокс в том, что даже в том случае, когда имитация превосходит оригинал по некоторым параметрам, она не может стать самоценной. Это всего лишь копия, ни в коем случае не способная подменить оригинал.

Естественно, невозможно без конца придумывать что-то новое, да и не нужно, однако слепое копирование формы, без реального содержания, может иметь успех разве что в очень узкой сфере.

В данном случае отмечу необычный стиль американского художника Карла Андре. Одна из его инсталляций представляет собой сделанную из латекса имитацию стены Дворца Дожей в Венеции. На стене сохранены все разрушения, нанесенные временем: шероховатости, загрязнения, подобные морщинам на лицах старых людей. Сам художник объясняет это тем, что строения, так же, как и люди, со временем становятся уникальными. «Красота, заслуженная временем». Он пояснил, почему ему захотелось сохранить эту стену. Все остальные стены здания дворца очистили от вековых наслоений, чтобы привлечь туристов. Знакомая ситуация...

Имитацию наблюдаем в различных конкурсах, столь популярных сегодня, таких, как шоу двойников. Один из последних анекдотических случаев: певица Адель пришла на шоу своих двойников поучаствовать в качестве претендентки на роль двойника Адель... В сущности, актерское мастерство заключается в искусстве имитации. Насколько удачно актер может примерить на себя личину другой индивидуальности, настолько велика мера его таланта. Личность актера так или иначе будет влиять на образ. Актер может облагородить облик заведомо отрицательного героя, сделать его значимым и, наоборот, лишить благородного героя очарования. Недавно на экранах прошел вызвавший дискуссию в социальных сетях русский сериал «Таинственная страсть», в котором в качестве главных героев выступают поэты и прозаики – шестидесятники, как они сами себя называли. Насколько актеры смогли воплотить, симитировать реальных людей – сложный вопрос. Хотя бы потому, что есть живые свидетели тех событий, близкие люди литераторов. С уверенностью можно утверждать лишь одно: что у каждого из почитателей поэтов – свое видение кумира, свой взгляд на него. Копия – это чаще всего однобокая, плоская реальность. Другое дело, что такого рода фильм, возможно, возродит интерес к поэзии поэтов-шестидесятников, к прозе предполагаемого рассказчика.

На заре возникновения театра профессия актера считалась не просто непрестижной, она входила в число малоприличных профессий. Актеров в Европе запрещали хоронить на городских кладбищах. Сегодня профессия актера – одна из самых престижных. И этому есть объяснение. Люди любят сказки. А сказки в живых картинках подобны наркоту.

Еще одна сфера, в которой всегда были двойники: политика. Много споров ведется по поводу того, есть ли двойники у того или иного лидера. В некоторых случаях особо пытливые журналисты долго идут по следу, чтобы доказать существование таких персон. Это всегда тайна за семью печатями. Хотя все сходится во мнении, что двойники успешно имитируют важную персону, стараясь изо всех сил, чтобы никто не догадался, что перед ними всего лишь дублер, не имеющий реальной власти. Работа таких людей опасна: имитируя вождей, они волей-неволей становятся заметной мишенью для всех недругов политического лидера.

Имитируют не только физическую форму, но и любую сферу деятельности человека, когда копируют законы, устройство общества, структуру учреждений. Всё...

Вот тут возникает масса вопросов. Имитационная деятельность очень часто ограничивается фасадом. Внешне все обстоит очень благопристойно. Множество структур, зачастую дублирующих друг друга. Армия работников, не слишком хорошо представляющих, в чем заключается их деятельность. Ну, разве что, за исключением редких

случаев. В основном, это всего лишь имитация деятельности.

Сегодня в данном вопросе имитация выходит на новый уровень. В соответствии с требованиями времени появляются сайты различных министерств и ведомств, где все параметры соответствуют новейшим веяниям западной моды. Проблема только в том, что картинка не работает. Опции не открываются. Просто современный вариант нарисованного очага папы Карло. Никто ни за что не отвечает, все кивают на вышестоящего. Он начальник, ему видней. Как пел Высоцкий, «Жираф большой, ему видней». А у начальника есть свой начальник и так далее..

Реальное, не имитационное содержание наблюдаем лишь у органов, занятых сбором денег с населения. В этом случае все участвующие в этом процессе исправно выполняют свои обязанности, и даже сайты, и те функционируют. Можно сделать вывод, что функционеры в состоянии выполнять свои обязанности. По всей вероятности, им выгодней (иначе как это объяснить по-другому) их не выполнять.

Имитация деятельности привела к коллапсу работы многих министерств. Не буду их перечислять. И еще – к созданию новой структуры, которую по старой привычке называли «не имеющей аналога». Стремление создать что-то самим похвально. Появляется слабая надежда на то, что в подобном случае стремление к имитации, где все фальшиво, будет сведено к нулю. Новая структура названа «Asan xidmet». Реклама этой структуры работает замечательно. Здания, где располагаются отряды работников структуры, прекрасны. Большие, просторные. Работники улыбки, доступны. Правда, уже не все. Появляются начальники с суровым выражением лица, знакомые нам по министерствам. Новая служба захватывает все больше сфер, начиная от простейших услуг, заканчивая выдачей загранпаспортов, а теперь уже и медицинским обследованием. И в скором времени, судя по процессу, эта служба подомнет под себя большую часть государственных структур. Возникает естественный вопрос. Для чего тогда нужны имитационные организации, чью работу пытается выполнить «Asan xidmet»? Имитационная деятельность многих служб не только не приносит пользы, а причиняет вред. Почему? Потому что, если выдавать поддельный бриллиант за настоящий, то это приведет к печальным последствиям. И самое малое, в чем можно обвинить человека, выдающего подделку за настоящий камень, это обвинить его в мошенничестве.

Не берусь судить, как дальше будет развиваться в нашем социуме имитационная модель, неблагодарное это дело. Очевидно лишь, что чем больше имитации, тем меньше реального содержания, а, следовательно, прогресса.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ТОФИК АГАЕВ

Лечу

Светлячок по ветке полз,
Проливая капли слез,
Говорил: «Зачем мне свет,
Если друга в мире нет?»
В небе звездочка блестела,
Светлячку сказала смело:
«Я дружить с тобой хочу,
Подожди меня, лечу!»
Вытер слезы светлячок,
Влез повыше на сучок,
Как фонарик, засветился,
Чтобы друг не заблудился.

Птицы на солнышке

Непоседам-птицам
По утрам не спится.
Как только просыпаются,
В небо поднимаются.

Сидя на солнышке,
Чистят ему перышки,
Чтоб оно блистало,
Чтоб оно летало.

Китёнок

Жил китёнок в океане,
Говорит однажды маме:
– Разреши мне для красоты
Отрастить себе усы!
Отвечает сыну мама:
– Подожди, китёнок, рано,
А еще скажу о том,
Станешь взрослым ты китом,
Закалят тебя не зря
Океаны и моря.
Будет шторм и будет гром,
Вот тогда,
И вот потом
Можешь даже для красоты
Отрастить себе усы!

Ежонок

У кровати тихо-тихо
Напевает мать-ежиха:
«Светит месяц нам лучистый,
Спи, ежонок мой пушистый!»

